

К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ НАД НАЦИЗМОМ

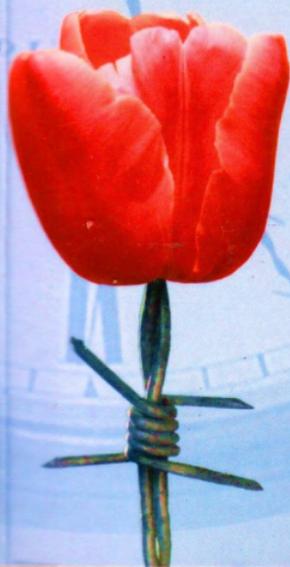
УБЕЖИЩЕ

КОРРИ ТЕН БООМ



КОРРИ ТЕН БООМ

# УБЕЖИЩЕ



КОРРИ ТЕН БООМ РАССКАЗЫВАЕТ  
О СВОЕЙ ЖИЗНИ В 1892—1945 ГОДАХ

**КОРРИ ТЕН БООМ**  
*совместно*  
**с Джоном и Элизабет Шерилл**

# УБЕЖИЩЕ

*Корри тен Боом*  
*рассказывает о своей жизни*  
*в 1892—1945 годах*



**Керен Ахва Мешихит, Иерусалим**

© 2017  
by Keren Ahvah Meshihit  
P.O.Box 10382, Jerusalem 91103

© 2017  
Керен Ахва Мешехит  
почтовый ящик 10382, Иерусалим 91103

Ни одна часть этой публикации не может быть  
перепечатана без предварительного разрешения от  
издателя

**[www.kerenahvah.org](http://www.kerenahvah.org)**

ISBN 978-965-447-238-8

© כל הזכויות שמורות  
הודפס בישראל  
2017  
תשע"ז

קרן אחוה משיחית  
ת.ד. 10382  
ירושלים 91103

## *Предисловие*

Однажды, собирая материалы для христианского журнала, мы услышали об одной пожилой женщине из Голландии — Корри тен Боом. О ней нам рассказал знакомый брат Эндрю. Эта голландка была его верной спутницей в многочисленных миссионерских поездках. Брат Эндрю многие годы проповедовал христианство за железным занавесом. Он так увлекательно рассказывал о пребывании Корри тен Боом во Вьетнаме и других коммунистических странах, что у нас появилась мысль написать о ней книгу. А вскоре случай подарил и встречу с ней самой.

Произошло это в мае 1968 года в Германии. Мы пошли в церковь на службу. С кафедры какой-то мужчина рассказывал о своей участи военнопленного в концентрационном лагере. Его лицо говорило красноречивее слов: застывшая боль в глазах, дрожащие руки, которые невозможно забыть. После него на кафедру вышла пожилая женщина, чуть полноватая и седая, но выражение ее лица было совсем другим — оно излучало любовь и радость. Мы услышали похожую историю: она тоже прошла концлагерь и была свидетельницей непостижимых ужасов и нечеловеческой жестокости. Конечно, состояние мужчины легко было понять и объяснить. Но что помогло женщине забыть эту боль?

Мы задержались после службы, чтобы поговорить с ней. С первых же слов стало понятно, что перед нами та самая

Корри, о которой рассказывал брат Эндрю. Ее знаменитая обитель для истерзанных и озлобленных войной людей начиналась там — в концлагере, где она сумела найти, по словам пророка Исаии, «защиту от ветра, покров от непогоды... тень от высокой скалы в земле жаждущей»<sup>1</sup>.

Позже, во время наших визитов в Голландию, мы еще ближе познакомились с этой обаятельной женщиной. Вместе мы посетили старый голландский дом-лабиринт с одной-единственной широкой комнатой. В этом доме Корри жила до пятидесяти лет, помогая своему отцу, часовому мастеру, и ухаживая за сестрой. Жила тихой, ничем не примечательной жизнью старой девы, не подозревая о том, что ей предстоят самые неожиданные повороты судьбы... Мы побывали в южной части Голландии и гуляли по тому самому саду, где Корри отдала свое сердце любимому человеку и потеряла его навсегда. И снова вернулись в большой каменный дом, где старый Пиквик разносил настоящий кофе в самый разгар войны...

И все это время нам казалось, что мы соприкасаемся не с прошлым, а с настоящим и даже будущим, что все эти места, вещи и люди имеют прямое отношение к современному миру. Общаясь с этой женщиной, мы на деле получили ответы на многие вопросы: как пережить разлуку; как довольствоваться малым; как чувствовать себя в полной безопасности, находясь на грани смерти; как научиться прощать; как Господь использует человеческую слабость во благо; как найти общий язык с «трудными людьми»; как смотреть в лицо смерти; как любить своих врагов и что делать, если побеждает зло.

И мы радостно поведали ей, насколько жизненно важным оказался ее опыт. Ее воспоминания помогли нам по-новому взглянуть на, казалось бы, неразрешимые проблемы современной жизни.

— Вот для чего нужно прошлое! — ответила Корри. — Весь опыт, что дает нам Господь, каждый человек, которого

Он ставит на нашем пути, — все это необходимая подготовка к будущему, которое известно только Ему.

«Весь опыт», «каждый человек на нашем пути»... Отец Корри, один из лучших часовых мастеров в Голландии, забывающий послать счета своим клиентам... Ее мать, чье изможденное болезнью тело стало темницей, но чей дух сумел воспарить свободно... Сестра Бетси, которая могла устроить пир из трех картофелин и спитого чая...

Когда мы смотрели в ясные голубые глаза нашей собеседницы, нам хотелось, чтобы все эти люди стали частью и нашей жизни. И мы поняли, что это возможно.

*Джон и Элизабет Шерилл*

*Июль 1971 г.*

*Чапаква, Нью-Йорк*



## *Столетний юбилей*

«Солнце или туман?» — вот первое, о чем я подумала, проснувшись в день юбилея нашей маленькой фирмы.

В январе Голландию обволакивает промозглый седой туман. Но порой, в редкий волшебный день, случается чудо: сквозь зябкую пелену пробивается солнце.

Я высунулась насколько могла из окна моей спальни: глухие кирпичные стены древних строений безучастно взирали на меня с задворков людного центра старого Харлема. Рискуя свернуть себе шею, я взглянула вверх и увидела над растрескавшимися черепицами и кривыми трубами жемчужно-матовое сияние: небо сулило нашему празднеству солнце!

Закружившись в вальсе, я подлетела к огромному старинному гардеробу и достала новое платье. Оно было по-прежнему длинным — строго на три дюйма выше щиколотки, хотя в 1937 году голландки уже отваживались носить юбки по колено. «Ты не молодеешь», — сказала я своему отражению в зеркале: сорок пять лет, не замужем, а талия давно исчезла.

Моя сестра Бетси, хотя и была на семь лет старше меня, сохранила свое природенное изящество, заставлявшее прохожих оборачиваться и провожать ее

взглядом. Нет-нет, только не из-за каких-то необыкновенных нарядов! Просто любой костюм, который надевала Бетси, тотчас преображался.

Мои же наряды, пока сестра не прикладывала к ним свои умелые руки, всегда выглядели неважно, а чулки то и дело рвались. «Но сегодня, — улыбнулась я, отступая как можно дальше от зеркала, — в этом платье цвета спелого каштана я весьма элегантна!»

Внизу, у бокового входа, зазвонил колокольчик. Посетители? Но ведь еще нет и семи часов утра! Толкнув дверь, я выскочила из комнаты и ринулась вниз по головокружительной винтовой лестнице, которая соединяла два старинных здания в один странный и нелепый дом.

Но, как я ни торопилась, Бетси опередила меня и открыла дверь. Из-за громадного благоухающего букета выглянула лукавая физиономия посыльного.

— Славный денек выдался на ваш юбилей! — радостно сказал он, бросая многозначительные взгляды на то место, где позже будет установлен столик с пирожными и кофе для гостей. Он, конечно, тоже будет среди них, этот симпатичный мальчуган, как, наверное, и весь город.

Первым делом мы с Бетси выудили из букета поздравительную карточку.

— Пиквик! — воскликнули мы разом.

Подлинное имя любезного господина было Герман Слюринг, а Пиквиком мы прозвали его за поразительное внешнее сходство с литературным героем: казалось, он спрыгнул со страниц имевшегося у нас иллюстрированного тома Диккенса. Этот маленький, лысый, косоглазый толстячок был столь же некрасив, сколь и великодушен.

Мы понесли букет в магазин. Чтобы попасть туда, нужно было пройти через мастерскую, где многие годы

трудился наш отец; там же стоял мой рабочий стол и верстаки Кристофеля и подмастерья Ханса.

В магазине была большая выставка образцов нашей продукции и на стенах висели разнообразные часы. В тот момент, когда мы с Бетси внесли цветы, все они одновременно пробили семь раз. С раннего детства любила я это царство мелодичных голосов, всегда дружелюбно приветствовавших меня. Сейчас здесь царил полумрак, так как уличные жалюзи были опущены. Я отперла дверь и вышла на Бартельорист-страат. Улица встретила меня сонной тишиной.

Я подняла ставни и с минуту любовалась витриной — плодом наших с Бетси совместных фантазий, сопряженных с жаркими спорами: я хотела разместить у всех на виду как можно больше экспонатов, а Бетси уверяла меня, что два-три образца на фоне шелка или сатина выглядят гораздо привлекательней. Сегодня у нас не было причин для разногласий: за стеклом красовались старинные часы по крайней мере столетнего возраста, предоставленные нашей фирме к торжественной дате знакомыми антикварами и друзьями. А дата на самом деле была знаменательной: именно в этот день в январе 1837 года наш дедушка начертал на этом самом стекле: «ТЕН БООМ. ЧАСЫ».

Церковные колокола Харлема уже минут десять вызванивали семь утра, проявляя вызывающее неуважение к столь важному элементу хронометрии, как точность, когда в полуквартале от нашей мастерской, на городской площади, наконец ударил большой колокол собора Сент-Баво. Поеживаясь от утреннего морозца, я отсчитывала гулкие торжественные удары и вспоминала те славные времена, когда у харлемцев еще не было радиоприемников и жизнь текла под звон этого колокола, и лишь люди, по роду своих занятий нуждающиеся в знании точного времени, приходили

к нам, чтобы взглянуть на «астрономические часы». Отец специально ездил на поезде каждую неделю в Амстердам сверяться с хронометром на шпиле Морской обсерватории и очень гордился тем, что стрелки его любимого детища никогда не убежали больше, чем на две секунды в семь дней. Возвращаясь в дом, я бросила на «астрономические часы» чуть грустный взгляд: они все так же гордо сияли на своем постаменте, равнодушные к утраченной славе.

И вновь зазвонил колокольчик у боковой двери: еще один букет! Так продолжалось примерно с час. Все новые и новые цветы, искусно подобранные и самые простые, в глиняных горшках, свидетельствовали о всеобщем уважении к главе фирмы — почетному старожилу Харлема. Когда весь первый этаж был заставлен цветами, мы с Бетси принялись относить букеты наверх, в комнаты покойной тетушки Янс: старшая сестра мамы скончалась двадцать лет назад, но ее присутствие ощущалось в оставшейся на прежнем месте массивной темной мебели.

— Посмотри, Корри, правда, им здесь гораздо светлее?

Бетси с умилением разглядывала горшочек с тюльпанами на узком подоконнике. Бедная моя сестренка! В нашем доме всегда было так темно от окружающих домов, что ни одно из твоих любимых растений не расцвело...

В 7.45 в мастерскую вошел Ханс, а спустя 15 минут появилась Тос, наша продавщица и счетовод. Эта угрюмая женщина из-за своего характера постоянно меняла место работы, пока десять лет назад не поступила к нашему отцу: его вежливая обходительность и доброта растопили сердце Тос, полностью обезоружив ее, и она, хотя скорее бы умерла, чем созналась в этом, полюбила нашего отца столь же неистово, сколь

ненавидела весь остальной мир. Оставив Ханса и Тос встречать посыльных, мы с сестрой пошли завтракать.

«Только на троих» — машинально отметила я, накрывая стол в уютной комнате на задней половине дома, пятью ступеньками выше магазина, но ниже комнат тети Янс.

Эта комната с окном на тихий переулок была для меня сердцем дома: старый обеденный стол, покрытый скатертью, служил мне когда-то пещерой пиратов или палаткой землепроходцев, за ним я готовила уроки, а мама читала вслух Диккенса под завывание ветра и потрескивание угольев в камине, на изразцах которого огонь высвечивал надпись: «Иисус — Победитель».

Теперь нашей семье хватало и маленькой части стола, но для меня за ним незримо присутствовали и мама, и три ее сестры, и моя вторая сестра Нолли, и брат Виллем, единственный сын в нашей семье. Мамы и тетушек давно нет в живых, Нолли и Виллем имеют собственные дома, но для меня они по-прежнему на своих обычных местах за столом. Правда, их стулья не долго пустовали: стоило отцу прослышать о малыше, нуждающемся в приюте, как за обеденным столом появлялось новое детское личико. Загадочным образом отец умудрился, при весьма умеренных доходах, вырастить кроме собственных четверых еще одиннадцать детей. Теперь все они стали взрослыми, обзавелись семьями и разлетелись по разным краям. Вот почему я поставила на стол только три прибора.

Когда Бетси принесла кофе из маленькой кухни и достала хлеб из буфета, на лестнице закрипели ступени: отец спускался к завтраку. Теперь он делал это несколько медленнее, чем раньше, но все так же пунктуально — ровно в 8.10 утра.

— Папа! — поцеловала я его в щеку. — С прекрасной тебя погодой на наш юбилей!

Голова отца могла соперничать белизной со скатертью на столе, но глаза его смотрели на нас сквозь круглые стекла очков без оправы все так же молодо и задорно, как и много лет назад.

— Корри! Бетси! Дорогие мои! Вы обе сегодня просто очаровательны! — воскликнул отец.

Прежде чем сесть за стол, он, склонив голову, негромко помолился.

— Ваша мама... — как бы она радовалась вашим модным нарядам!

Мы с Бетси уткнулись в свои чашки, чтобы не рассмеяться: эти «модные» наряды приводили в отчаяние наших племянниц, тщетно пытавшихся одеть нас в какие-нибудь веселенькие блузки с глубоким вырезом или юбки нормальной, на их взгляд, длины. Но коли уж речь зашла о нашей неискоренимой консервативности, то будет вполне уместно вспомнить о вкусах маминого поколения. В то время и замужние, и незамужние дамы, достигшие определенного возраста, носили исключительно все черное. Мама никогда не надевала ничего похожего на наши платья — мое темно-каштановое или синее — Бетси, во всяком случае, мне не доводилось лицезреть ее или тетюшек в подобных нарядах.

— Маме вообще все сегодня понравилось бы, — заметила Бетси. — Вы же помните, как она любила знаменательные даты!

Мама ставила пирог на стол и кофе на конфорку прежде, чем гость успевал раскрыть рот и поздравить ее. А поскольку она была знакома со многими харлемцами, в особенности с бедными, отвергнутыми и страждущими, то не проходило и дня, чтобы наша мама не придумывала какой-нибудь праздник и не готовила по этому поводу угощение.

И вот снова мы за общим столом предаемся воспоминаниям о тех добрых старых временах, когда жива

была мама, и даже об еще более отдаленных — когда папа был совсем маленьким мальчиком, родившимся в этом доме.

— И в этой самой комнате! — улыбаясь, в сотый раз рассказывает отец. — Здесь была не столовая, а спальня — сумрачная, душная, с громоздкой кроватью, без окна. До меня не выжил ни один ребенок: у мамы была чахотка, а о таких вещах, как зараженный воздух или содержание младенца отдельно от больных, тогда и понятия не имели...

Могли ли эти немолодые люди в чудесный солнечный январский день 1937 года вообразить, какие им предстоят испытания? Они даже не подозревали, что невероятные страдания и смерть уже совсем рядом...

Отец встал и взял с полки Библию в толстом переплете: чтение Священного Писания ровно в 8.30 являлось одним из непреложных правил для всех обитателей нашего дома. Тихонько постучавшись, вошли Тос и Ханс. Мы с Бетси затаили дыхание: неужели и сегодня будет целая глава?

Отец раскрыл Библию на Евангелии от Луки и, подняв голову, спросил:

— А где же Кристофель?

Кристофель — наш третий работник, сторбленный и сморщенный человек, выглядевший старше отца, хотя и был на десять лет моложе, — впервые объявился в мастерской лет шесть-семь тому назад. Он был до такой степени истощен и оборван, что я приняла его за нищего и хотела отослать в кухню, где у Бетси всегда имелась наготове кастрюля наваристого супа, но Кристофель с необычайным апломбом заявил, что готов предложить нашей фирме свои услуги и рассчитывает на постоянную работу.

Оказалось, что Кристофель принадлежит к исчезающему племени часовых мастеров, которые пешком

путешествовали по всей стране в поисках неисправных часов с маятником: такие часы являлись предметом особой гордости любой зажиточной крестьянской семьи в Голландии. Отец без лишних расспросов взял Кристофеля к себе в помощники.

— Эти бродяги — замечательные умельцы, — объяснил он мне позже. — Нет таких часов, которые они не наладили бы с помощью простейших инструментов.

И отец словно в воду глядел: клиентов прибавилось, и ни разу за все время, пока Кристофель у нас работал, не было случая, чтобы кто-то остался недоволен его работой. Как Кристофель распоряжался своим заработком, мы не знали, но только он продолжал ходить в том же затрапезном виде. Первое время отец еще пытался делать ему какие-то намеки, но вскоре махнул на эту затею рукой, ибо неряшливость в одежде была такой же неотъемлемой частью натуры Кристофеля, как и его гордость. Но опаздывал он впервые за многие годы.

Отец протер салфеткой очки и начал читать, отчетливо выговаривая густым басом каждое слово. Он уже заканчивал первую страницу главы, когда мы услышали знакомое шарканье. Дверь распахнулась — и мы столбенели: на Кристофеле был великолепный черный костюм, жилет в клетку, белоснежная сорочка с жестким накрахмаленным воротничком и зеленый шелковый галстук. Всем своим видом Кристофель демонстрировал неуместность изумления, и, заметив это, я скромно потупилась.

— Кристофель! Мой дорогой коллега! — проникновенным голосом воскликнул отец в свойственной ему старомодной манере. — Я безмерно счастлив лицезреть тебя в сей благостный день! Присоединяйся к нам!

Настойчивый звон сразу обоих колокольчиков прервал традиционный обряд, не дав отцу дочитать

главу до конца. Бетси побежала в кухню варить кофе для гостей, а мы с Тос поспешили к дверям. Казалось, весь город стремился пожать руку нашему отцу, принимавшему поздравления в комнате тети Янс среди моря цветов. Я помогла одному из гостей подняться по лестнице, когда Бетси схватила меня за локоть.

— Корри! Нам срочно нужны чашки Нолли!

— Я мигом слетаю за ними на велосипеде! — отозвалась я и побежала вниз, к боковому выходу.

— Корри! — остановил меня уже на пороге негромкий, но твердый окрик Бетси. — Твое новое платье!

Пришлось вновь карабкаться наверх и переодеваться в старую юбку и куртку, а уже потом мчаться по тряскому брусчатому шоссе к дому Нолли.

Нолли жила на Бос эн Ховен-страат, в тихом районе, в полутора милях от центра Харлема, где все дома, с белыми занавесками и цветочными горшочками на окнах, казались похожими друг на друга, улицы шире и прямее и даже само небо просторнее. Оставив наконец позади узкие и кривые переулки центральных кварталов, я пересекла городскую площадь, вырулила на мост Гроде Хаут и оказалась вскоре на другой стороне канала, сверкающего в лучах зимнего солнца. Могла ли я представить себе в то утро, подъезжая к дому Нолли, что однажды летом, когда расцветут гиацинты в маленьких двориках, я остановлю на том же самом месте свой велосипед и замру, тяжело дыша и не осмеливаясь пойти и посмотреть, что происходит за знакомыми накрахмаленными занавесками?

А в тот день я ворвалась к сестре без стука, с порога заявив, что у нас полно народу и требуются ее чашки. Нолли вышла мне навстречу из кухни с улыбкой на своем круглом миловидном личике.

— Чашки уже упакованы, — сказала она. — Извини, что я не смогу сейчас же отправиться к вам, мне еще

надо допечь печенье и дождаться Флипа и детей из школы.

— Надеюсь, вы все придете? — спросила я, делая ударение на слове «все».

— Безусловно, Корри. И Петер тоже, — понимающе улыбнулась Нолли, укладывая чашки в дорожную сумку.

Как и подобает тетушке, я старалась в равной мере любить всех своих племянниц и племянников. Но Петер... Короче говоря, в свои тринадцать лет этот музыкальный вундеркинд и отчаянный сорванец был моей гордостью.

— Петер сочинил песенку в честь юбилея, — сказала Нолли. — Ну вот, все готово. Смотри не урони! — добавила она, вручая мне хрупкий груз.

За время моего отсутствия наш дом просто переполнился гостями: сам мэр Харлема пожаловал на торжество во фраке и с золотой цепочкой, пришли почтмейстер, вагонновожатый и с полдюжины полицейских.

После обеда появилась детвора. Как обычно, они моментально окружили отца: старшие уселись вокруг него на полу, малыши вскарабкались на колени. Детей просто завораживали его добрые лучистые глаза, пушистая борода и тикающие карманы.

Отец считал, что часы лучше идут, если носить их при себе, поэтому его всегда сопровождало веселое тиканье. Теперь же отец забавлял детей, ловко жонглируя крестообразным заводным ключом: в тонких цепких пальцах старого мастера он сверкал и вертелся, как волшебная палочка.

— Похоже, он никого, кроме детей, даже не замечает, — сказала Бетси, остановившись в дверях с подносом пирожных.

Легкое замешательство подсказало нам обеим, что прибыл Пиквик: любя этого доброго человека, мы за-

бывали, какое впечатление способна произвести его внешность на посторонних. Я поспешила вниз, чтобы представить нового гостя. Покончив с формальностями, я увлекла его за собой наверх. Пиквик тотчас же плюхнулся на стул рядом с отцом, уставился одним глазом на меня, другим, в потолок и заявил:

— Мне, пожалуйста, пять пирожных!

Бедный Пиквик! Он обожал детей не меньше, чем отец, но если тот покорял их сердца с первого взгляда, то Пиквику приходилось устраивать целое представление. У него был коронный трюк, никогда не подводивший его, и я с трудом сдерживала смех, подавая ему чашку кофе и тарелку с пирожными и наблюдая за тем, как он растерянно озирается вокруг.

— Но, моя дорогая Корнелия, — наконец произнес он, косясь одним глазом на детей, — я не вижу стола, на который можно было бы все это поставить! Как хорошо, что я прихватил свой собственный!

И с этими словами он, под всеобщий детский смех, поставил чашку и тарелку на свой выдающийся живот. Со всех сторон его обступили новые юные друзья.

Вскоре прибыло семейство Нолли.

— Тетя Корри! — с невинным выражением лица приветствовал меня Петер. — Вам никак не дашь сто лет!

Но прежде, чем я успела шлепнуть его, он уселся за пианино, заполняя дом мелодией своей новой песенки. Посыпались просьбы сыграть что-нибудь из хоралов Баха или гимнов, и вскоре все уже пели хором: Петер, полицейские, Пиквик и другие гости. Не было среди них только моего брата Виллема и членов его семьи. Я терялась в догадках, почему они так задерживаются — тридцать миль, отделяющие Хильверсюм от Харлема, не такое уж большое расстояние. Внезапно музыка оборвалась и раздался возглас Петера:

— Дедушка! Конкуренты идут!

Я выглянула в окно: по переулку чинно вышагивала чета Канов — владельцев другого известного часового магазина в нашем квартале. По харлемским понятиям они были новичками: ведь свой магазин они открыли всего-то двадцать семь лет назад, в 1910 году. Однако Канам удавалось продавать гораздо больше часов, чем нам, поэтому я считала, что слова Петера вполне соответствуют реальному положению вещей. Папа, однако, с этим не согласился.

— Не конкуренты, — поправил он Петера, — а коллеги!

Отец был уверен, что частые визиты господина Кана в нашу мастерскую вызваны его дружескими чувствами.

— Неужели ты не понимаешь, что он специально узнает наши цены, чтобы продавать свой товар дешевле! — возмущалась я после ухода любознательного посетителя. — Взгляни на ценники в его витрине: ведь его часы ровно на пять гульденов дешевле наших!

В ответ папино лицо озарилось радостной удивленной улыбкой.

— Но послушай, Корри! — сказал он. — Разве плохо, что люди могут сэкономить, покупая часы у него? Интересно, как это ему удастся...

Папа был так же наивен в коммерческих вопросах, как и его отец. Он мог работать с утра до вечера над какой-нибудь сложной технической задачей, а потом забывал выслать счет. И чем дороже и редкостней были часы, которые он ремонтировал, тем менее он был способен думать о них с позиции их стоимости.

— Следует платить за честь налаживать такой механизм! — говорил он в таких случаях.

Что же касается рекламы нашего товара, то первые восемьдесят лет уличные ставни магазина закрывались ровно в шесть часов вечера. Двадцать лет назад я обрати-

ла внимание на то, что возле витрин других магазинов, не опускавших жалюзи на ночь, толпятся прохожие.

— Так ведь если люди будут видеть часы, они могут надумать утром купить их! — обрадовался отец, когда я поделилась с ним своим открытием. — Корри, дорогая, какая ты умненькая!

Господин Кан с сияющей улыбкой направлялся теперь ко мне, но я чувствовала себя виноватой за нежелательные мысли о нем, поэтому, воспользовавшись толчеей, убежала вниз. В мастерской и магазине гостей было больше, чем в наших апартаментах наверху. Ханс и Тос, изо всех сил старавшиеся любезно улыбаться, разносили печенье и пирожные. Что же до Кристофеля, то он преобразился до неузнаваемости: с важным видом отвешивал церемонные поклоны вновь пришедшим и галантно провожал гостей. Несомненно, это был величайший день всей его жизни!

А люди все прибывали: молодые и старые, богатые и бедные, образованные и неграмотные — все они были друзьями нашего отца. Отец не видел разницы между ними, вернее сказать, он просто не думал, что таковая вообще существует, — в этом был секрет его огромного обаяния.

А Виллема все не было. Проводив одного из гостей, я задержалась в дверях и окинула взглядом улицу: в окнах зажигались вечерние огни, хотя наши «астрономические часы» показывали только 16.00. Виллем по-прежнему внушал мне почтение, но раньше я, как и все в семье, почти боготворила его. Ведь он был не только моим старшим братом, но и единственным из тен Боомов, закончившим колледж и ставшим священником. Наш Виллем понимал толк в вещах, он знал, что на самом деле происходит в мире.

Порой мне даже хотелось, чтобы Виллем утратил свою пугающую прозорливость. Десять лет назад, в

1927 году, Виллем написал в своей диссертации, которую он защищал в Германии, что в этой стране прокладывает себе дорогу величайшее за всю историю человечества зло. Даже в стенах университета, утверждал он, закладываются семена презрения к человеческой жизни. Те немногие, кто прочитал его работу, тогда смеялись. Теперь им было, конечно, уже не смешно. В Германии, откуда поступала большая часть хороших часов, творилось нечто страшное. Несколько еврейских фирм, с которыми мы долгие годы успешно сотрудничали, загадочным образом прекратили свое существование. Виллем, возглавлявший работу с евреями в голландской реформатской церкви, был уверен, что это всего лишь часть затеваемых против этого народа акций.

«Мой дорогой Виллем, — думала я, входя в дом и затворяя двери, — ты такой же наивный идеалист в церковных делах, как и твой отец — в коммерческих. Что-то мне не доводилось слышать хотя бы об одном еврее, обращенном тобой в христианство». Виллем не пытался изменить людей, он предпочитал служить им. Он умудрился скопить достаточную сумму денег и построить для престарелых евреев приют в Хильверсюме. В последнее время туда стали приезжать и молодые евреи — беженцы из Германии, так что Виллему и его семье пришлось освободить занимаемые ими комнаты и спать в коридоре. А запуганные, голодные, бездомные люди все продолжали прибывать, рассказывая невероятные истории о все возрастающем безумии у них на родине, в Германии.

Я поднялась на кухню, где Нолли только что сварила ароматнейший кофе, взяла кофейник и пошла в комнаты тети Янс.

— Как вы думаете, — вдруг обратилась я к мужчинам, сидевшим за десертным столиком, — чего добивается этот человек в Германии? Он хочет войны?

Я понимала, что затрагиваю неуместную для праздника тему, но была слишком охвачена мыслями обо всем, что каким-то образом может быть связано с Виллемом. Холодок молчания распространился по всей комнате.

— Какое, собственно говоря, это имеет значение? — раздался чей-то голос. — Пусть большие страны дерутся, нас это не коснется!

— Правильно! — поддержали его другие. — Немцы не затронут нас в большой войне, это не в их интересах.

— Вам легко говорить! — воскликнул коммерсант, у которого мы покупали запасные части. — Вы получаете товар из Швейцарии. А что прикажете делать мне? Война лишит меня куска хлеба!

В этот момент в комнату вошли Виллем и его жена Тина в окружении четверых детей. Виллем поддерживал под руку еврея лет тридцати в традиционной широкополой черной шляпе и черном сюртуке. Все его лицо было обожжено, от бороды почти ничего не осталось.

— Позвольте мне представить вам господина Гутлибера, — по-немецки произнес Виллем. — Он только что прибыл в Хильверсюм из Германии. Господин Гутлибер, позвольте вам представить моего отца!

— Он выбрался из Германии на молоковозе, — объяснил Виллем по-голландски. — Его остановили на перекрестке какие-то юнцы и подожгли ему бороду! Вот что творится сегодня в Мюнхене среди белого дня!

Отец встал и сердечно пожал руку новому знакомому. Я принесла ему чашку кофе и печенье. Гутлибер опустил на край стула и уставился в чашку, держа ее дрожащей рукой. Я присела рядом с ним и принялась болтать какую-то чепуху о необычной для января погоде. Как в тот момент я была благодарна отцу за то, что он с раннего детства учил нас и немецкому, и английскому! Незаметно вокруг нас вновь возобновилась непринужденная беседа.

— Обыкновенная шпана! — донеслись до меня чьи-то слова. — Во всех странах творится одно и то же. Вот увидите, полиция переловит всех этих хулиганов, Германия — культурная страна!

Итак, в тот памятный январский вечер над всеми нами нависла страшная тень, но никто не придавал этому особого значения. Никто не думал, что эта маленькая тучка разрастется и закроет собой все небо. Никто не предполагал, что грядущая мгла заставит каждого из нас сыграть отведенную ему роль...

Уже поздно вечером, проводив последнего гостя, я задумалась о прошлом. На моей кровати лежало новое платье: я забыла надеть его, вернувшись от Нолли. «Я никогда особенно не заботилась об одежде, — с грустью подумалось мне. — Даже когда была молодой...»

Воспоминания детства нахлынули на меня из мрака ночи, на удивление яркие и отчетливые. Теперь-то я знаю, что такие видения помогают понять не столько прошлое, сколько будущее. Я также знаю, что опыт прожитых лет, если мы оставляем его на волю Бога, таинственным образом подготавливает нас к будущим свершениям.

Но в ту ночь я не знала всего этого. И я не знала, что существует некое новое будущее, к которому следует готовиться уже в настоящей жизни. Я только знала, что определенные моменты прошлого не забываются на протяжении всей жизни. Странными казались мне эти картины, всплывавшие из глубин памяти настолько отчетливо и явственно, словно они и не заканчивались вовсе, словно бы хотели сообщить мне нечто крайне важное...

# *Все семейство в сборе*

Шел 1898 год. Мне было уже шесть лет. Бетси поставила меня перед зеркалом и читала нотацию:

— Ты только взгляни на свои ботинки! На них же нет и половины застежек! А чулки? Как ты будешь выглядеть в рваных чулках в свой первый день в школе? Бери пример с Нолли, она чудесно выглядит.

Я окинула растерянным взглядом свою восьмилетнюю сестру, с которой мы жили в одной комнате, и вздохнула: высокие ботиночки Нолли были аккуратно застегнуты на все крючки. Пришлось разуваться, пока Бетси рылась в гардеробе.

В свои 13 лет Бетси казалась мне совсем взрослой. Правда, она всегда выглядела старше своих лет, потому что не могла носиться и играть, как другие дети: Бетси страдала врожденной злокачественной анемией. Вот почему, пока мы играли в пятнашки или в мяч или же бегали зимой наперегонки на коньках по льду канала, сестра не принимала в играх участия и выполняла совсем не детскую работу вроде вышивания. Однако Нолли играла наравне с остальными детьми и была ненамного старше меня, и поэтому мне казалось несправедливым, что она вечно ходит в пайнках, а я — нет.

— Бетси! — заявила Нолли серьезно. — Я не намерена идти в школу в этой огромной страшной шляпе только потому, что ее купила для меня тетя Янс. Хватит с меня того, что я весь прошлый год проходила в такой же! А эта даже хуже!

Бетси сочувственно вздохнула.

— Да, но ведь не можешь же ты пойти в школу вообще без шляпы! И ты знаешь, что мы не в состоянии купить тебе другую.

— И не нужно! — сказала Нолли.

Она быстро вытащила из-под кровати шляпную коробочку. Внутри оказалась самая маленькая шляпка, какую мне доводилось видеть. Она была сделана из меха, с голубой сатиновой ленточкой.

— Какая замечательная вещица! — восхищенно воскликнула Бетси, разглядывая шляпку. — Откуда она у тебя?

— Это подарок госпожи ван Дивер!

Ван Диверы владели салоном дамских шляп через два дома от нашего.

— Она как-то заметила, что я смотрю на эту шляпку, и принесла ее после того, как тетя Янс выбрала ту, страшную...

Коричневый капор, украшенный сиреневой розой из бархата, каждой своей деталью свидетельствовал, что выбрать его могла только тетя Янс, старшая мамина сестра, переехавшая к нам после смерти своего мужа, чтобы, как она выражалась, скоротать те несколько дней, которые ей остались, хотя ей тогда едва перевалило за сорок.

Появление тети Янс заметно усложнило нашу жизнь в старом доме, где было и без того тесновато после переселения к нам двух маминых сестер, тети Беп и тети Анны, не говоря уже о том, что тетя Янс привезла свою громоздкую старинную мебель.

Тетя Янс облюбовала две комнаты в передней части дома, как раз над магазином и мастерской. В одной она сочиняла вдохновенные христианские трактаты, а в другой принимала богатых дам-меценаток. Тетя Янс была уверена, что наше благополучие в иной жизни зависит от наших достижений на земле. Спала она за ширмой в кабинете, ибо смерть, как она любила выражаться, только и ловит момент, чтобы оторвать ее от любимых занятий. По той же причине всем прочим мирским делам тетя Янс уделяла минимум времени.

Над комнатами тети Янс находилась маленькая мансарда, состоявшая из четырех каморок, где ютились тети Беп и Анна, а также Бетси и Виллем.

Чтобы попасть в нашу с Нолли спальню, надо было подняться на пять ступенек винтовой лестницы и перейти на заднюю половину дома, где размещались по вертикали под нами комната родителей, столовая и кухня.

Хотя апартаменты тети Янс были, по сравнению с другими, ненормально просторными, все мы, обитатели дома, воспринимали это как само собой разумеющееся.

Мимо нашего дома с раннего утра до позднего вечера с грохотом проезжали конки, останавливавшиеся на Гроде Маркт, центральной городской площади, в полуквартале от нашего магазина. Во всяком случае именно там была остановка для всех. Но когда тете Янс приходило в голову поехать куда-нибудь на конке, она просто выходила на тротуар, поднимала вверх большой палец — и происходило чудо: под визг тормозов и ржание лошадей вагон замирал прямо напротив нее, а вагоновожатый приподнимал свой цилиндр, приветствуя величественно и неспешно врывающуюся в салон почетную пассажирку.

И вот теперь, бросая вызов ее властному характеру, Нолли намеревалась надеть в школу маленькую ме-

ховую шляпку. С тех пор как тетя Янс обосновалась в нашем доме, она покупала своим племянникам почти всю одежду. Она считала, что порядочные люди должны носить только такие наряды, какие были в моде в дни ее юности. Все последующие изыски моды являлись, несомненно, происками дьявола, что тетя Янс убедительно доказала в одном из своих нашумевших памфлетов, где дьявол разоблачался как изобретатель специальных юбок для езды на велосипеде.

— Я знаю! — воскликнула я, глядя, как Бетси ловко пришивает к моим ботиночкам крючки. — Нолли может надеть свою маленькую шляпку под большую, а на улице снять это страшилище и спрятать в сумку.

— Корри! — Нолли была до глубины души потрясена моим предложением. — Но это ведь нечестно!

Она бросила прощальный недобрый взгляд на капор и с маленькой шляпкой в руках отправилась следом за Бетси завтракать.

Подхватив свою серую шляпу, я последовала за сестрами, недоумевая, к чему вообще вся эта суета вокруг одежды. Единственное, что занимало меня в то утро, — это предстоящая разлука с родными, со всем привычным окружением и образом жизни. То, что школа находилась всего в полутора милях от дома и Нолли без всяких проблем вот уже два года ходила в нее, меня совершенно не утешало: Нолли была не такая, как я, она была хорошенькая, благоразумная и всегда имела при себе носовой платок.

И вот, спускаясь по лестнице, я пришла к заключению, что в школу просто не пойду. Останусь дома и буду помогать тете Анне готовить обед, а мама будет учить меня читать и писать. Приняв столь мудрое и ясное решение, я почувствовала такое облегчение, что даже расхохоталась и перепрыгнула сразу через три ступеньки.

— Тсс! — шикнули на меня Бетси и Нолли, стоявшие возле двери в столовую. — Ради Бога, Корри, постарайся не вывести тетю Янс из себя! Папе, маме и тете Анне новая шляпка Нолли наверняка понравится.

— А вот тете Беп уж точно нет, — сказала я. — Ей никогда ничего не нравится.

— Значит, она не в счет, — заключила Нолли и, взглянув на фризские часы на стене, показывавшие уже 8.12, со вздохом шагнула в столовую.

— Опоздание на две минуты! — провозгласил Виллем.

— Дети Валлерсов никогда себе такого не позволяли! — задумчиво произнесла тетя Беп с обычным хмурым выражением лица, за что мы и недолюбливали ее. Она тридцать лет отработала гувернанткой в богатых семьях и поэтому постоянно сравнивала наше поведение с поведением своих воспитанников, юных леди и джентльменов.

— Но девочки уже здесь, — сказал папа, — и в комнате, мне кажется, даже стало светлее!

Все это мы слушали вполуха: место тети Янс было не занято.

— Тетя Янс сегодня не встала? — с надеждой в голосе спросила Нолли, вешая шляпку на вешалку.

— Она готовит себе на кухне тоник, — сказала мама, разливая кофе по чашкам, и вполголоса добавила: — Сегодня нам надо постараться быть особенно внимательными к ней, ведь несколько лет назад в этот же день скончалась ее золовка. Или, — она выпрямилась и наморщила лоб, — это была двоюродная сестра ее зятя?

— А мне казалось, что это была его тетя, — сказала тетя Анна.

— Это был один из его кузенов, и для него так было даже лучше, — сказала тетя Беп.

— Как бы там ни было, — поспешно подытожила мама, — вам известно, как подобные печальные даты огорчают дорогую Янс. Поэтому мы должны помочь ей пережить этот трудный день.

Я присматривалась к сидевшим за столом взрослым, пытаюсь угадать, кто из них поддержит мое решение не ходить в школу.

Отец, я знала, придавал образованию очень большое значение. Он оставил школу очень рано, так как вынужден был работать в мастерской, но самостоятельно изучал историю, теологию, литературу, знал пять языков и хотел, чтобы я ходила в школу. А всего, чего хотел отец, желала и мать.

В таком случае, может быть, тетя Анна? Она всегда говорила, что ей трудно управляться одной, без меня. Особенно она не любила бегать вверх-вниз по винтовой лестнице. А поскольку мама не совсем здорова, тетя Анна, с ее добрым сердцем, выполняла львиную долю всей тяжелой работы на семью из девяти человек. Да, решила я, она будет в этом деле моим союзником.

— Тетя Анна, — начала я, — вам приходится так много работать весь день, что я подумала, не лучше ли мне...

Громкий театральный вздох заставил нас всех обернуться. Тетя Янс застыла на пороге кухни с бокалом бурой жидкости в руке. Набрав полную грудь воздуха, она зажмурилась, поднесла бокал к губам и осушила его. Затем резко выдохнула, поставила бокал на буфет и уселась на свое место.

— Однако, — произнесла она с таким видом, словно мы только что обсуждали эту проблему, — что вообще эти врачи понимают? Доктор Блинкер прописал мне тоник. Но какой прок от всех этих лекарств? Какой вообще от всего прок, когда каждому назначен свой срок?

Я взглянула на лица сидевших за столом: никто не улыбался. Хотя излишняя озабоченность тети Янс и была несколько забавна, затронутая ею тема совсем не располагала к смеху. И я это прекрасно понимала, несмотря на свой возраст.

— Но ведь согласишься, Янс, — произнес осторожно отец, — лекарства многим продлили жизнь.

— А помогли они Эюше? И это несмотря на то, что ее лечили медицинские светила Роттердама! Именно в этот день ее не стало, а ведь ей было не больше лет, чем сейчас мне! Она вот так же проснулась в тот день, так же вышла к завтраку, как и я...

Но тут взгляд тети Янс упал на вешалку.

— Меховая муфта? — требовательно спросила она. — В это время года? — Лицо ее исказилось гримасой.

— Это не муфта, тетя Янс, — тихо сказала Нолли.

— А можно узнать, что это такое?

— Это шляпка, тетя Янс, — ответила за Нолли Бетси. — Это подарок госпожи ван Дивер. Как мило с ее стороны, не правда ли...

— У шляпы Нолли были поля, как и положено быть шляпе хорошо воспитанной девочки. Я точно знаю. Я лично покупала. Я заплатила!

В глазах тети Янс загорелись огоньки, а у Нолли навернулись крупные слезы. Мама, стараясь загладить неловкое положение, громко сказала, пригнувшись к тарелке с сыром:

— Я совершенно не уверена, что этот сыр свежий! Что ты думаешь по этому поводу, Каспер?

Отец, который был просто не способен лгать, добросовестно понюхал сыр и заявил:

— Я абсолютно уверен, дорогая, что этот сыр наисвежайший: ведь он от господина Стервийка, а его сыр всегда...

Мамин взгляд несколько смутил папу, и он в недоумении уставился на тетю Янс, которая тотчас же схватила тарелку и впилась в нее изучающим взглядом: испорченная пища занимала ее даже больше, чем современная мода. Наконец, как мне показалось, с неохотой, сыр был ею одобрен, а шляпка — уже забыта! Тетя Янс погрузилась в печальное повествование о том, как одна хорошая знакомая, ее же возраста, умерла, отведав подозрительной рыбки. Но тут пришла пора отцу взять с полки Библию: в столовую вошли работники.

В 1898 году в нашей часовой мастерской их было всего двое: мастер по настенным часам и папин подмастерье, он же и рассыльный. Мама налила им кофе, папа надел очки и начал читать: «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей... Ты покров мой и щит мой; на слово Твое уповаю...»<sup>2</sup>

«Что это за покров? — пыталась сообразить я, наблюдая за тем, как поднимается и опускается борода отца. — От чего нужно под ним укрываться?»

Это был длинный-длинный псалом. Нолли уже заерзала на стуле, когда отец наконец захлопнул фолиант. Нолли, Виллем и Бетси разом вскочили из-за стола и бросились к вешалке за своими головными уборами. В следующее мгновение они уже мчались по лестнице к боковой двери.

Куда как неторопливее поднялись со своих мест работники и последовали в мастерскую. И только тогда оставшиеся за столом заметили, что я не двинулась с места.

— Корри! — воскликнула мама. — Ты забыла, что ты уже большая девочка? Сегодня ты тоже идешь в школу! Поторапливайся же, иначе тебе придется одной переходить улицу!

— Я не пойду.

Последовала минута всеобщего изумления, потом все заговорили одновременно:

— Когда я была маленькой... — начала тетя Янс.

— Дети госпожи Валлерс... — сказала тетя Беп.

Но глубокий бас отца заглушил обеих.

— Конечно же, Корри не пойдет в школу одна! — сказал он. — Я провожу ее!

С этими словами он снял с вешалки мою шляпку, взял меня за руку и вывел из комнаты.

Моя рука в руке отца! Это всегда предвещало встречу с ветряной мельницей или лебедями на канале Спарне. Но на этот раз отец вел меня совсем не туда, куда мне хотелось. Я вцепилась в перила, но ловкие пальцы часового мастера мягко высвободили мою руку, и как ни плакала я, как ни упиралась, отец увел меня из знакомого мне мира в иной — огромный, неведомый, суровый...

Каждый понедельник отец ездил на поезде в Амстердам, чтобы сверить часы с хронометром Морской обсерватории. Теперь, когда я начала учиться в школе, я могла сопровождать его только в летние каникулы. Мне надлежало спуститься вниз в наглаженной одежде, вычищенных ботинках и пройти строгий осмотр Бетси. Отец же тем временем давал последние указания ученику:

— Госпожа Сталь придет сама за своими часами. А этот будильник надо отправить Баккерам в Блумендаль.

А потом мы шли на станцию, рука в руке.

Я старалась шагать как можно шире, а отец укорачивал шаг, чтобы идти со мной в ногу. На дорогу уходило всего полчаса, но зато какая это была поездка! Сначала мелькали сгрудившиеся домишки старого Харлема, потом начинались коттеджи с крохотными палисадниками. Постепенно свободного пространства между домами становилось все больше, и наконец мы

въезжали в пригородную зону, с ее уходящими за горизонт ровными полями, с проложенными словно по линейке каналами.

Но вот и Амстердам! Он даже больше, чем наш Харлем, этот очаровательный город, сплетенный из каналов и улиц. Отец приезжал часа за два до полудня, чтобы успеть проведать своих партнеров-оптовиков, снабжавших его и запасными деталями, и часами. Многие из них были евреями, и к ним мы оба больше всего любили наведываться. После непродолжительного делового разговора отец извлекал из саквояжа карманную Библию. Еврей-торговец, с еще большей бородой, чем у отца, доставал из ящика комода свиток Торы, и они начинали спорить, что-то наперебой доказывая друг другу. А затем, как раз в тот момент, когда я решала, что пора напомнить им о себе, торговец вдруг поднимал голову, смотрел на меня, словно бы видел впервые, и ударял себя пятерней по лбу.

— Гостья! У меня дома гостья, а я не предложил ей угощение!

Он вскакивал, словно пружина, и принимался рыться на полках в буфете. И вскоре я уже держала на коленях тарелку с медовыми лепешками, пирожными с финиковой начинкой и еще какими-то тягучими сладостями из орехов, фруктов и патоки. Ничего подобного на десерт дома нам никогда не подавали.

Но без пяти минут двенадцать мы уже снова на платформе вокзала, откуда прекрасно виден шпиль Морской обсерватории, не хуже, чем с любого корабля в гавани, и отец держит наготове карманные часы, блокнот и карандаш, приподнимаясь на цыпочках в предвкушении долгожданного момента. Наконец — вот он, неповторимый миг отсчета точного времени для наших харлемских «астрономических часов»! Отец делает пометку в блокноте: «На четыре секунды впе-

ред», корректирует свой личный хронометр, и спустя какой-нибудь час все харлемцы уже будут иметь возможность узнать время с точностью до секунды.

На обратном пути мы уже не глазеем в окошко вагона. Мы разговариваем о разном: о том, как Бетси наверстать упущенное из-за ее болезни и успешно закончить среднюю школу; о том, получит ли Виллем стипендию в университете; о том, что Бетси приступает к работе в нашем магазине в качестве счетовода.

Я частенько использовала такие поездки, чтобы спросить отца о том, о чем не хотела спрашивать дома, в присутствии родственников. Однажды — мне было тогда лет 10 или 11 — я спросила отца об одном стихотворении, которое мы читали в классе минувшей зимой. Одна строка, где говорилось о «юноше с лицом, не омраченным половым грехом», была мне не совсем понятна. Попросить учителя разъяснить, что такое «половой грех», я постеснялась, а мама, услышав мой вопрос, густо покраснела и промолчала.

В то время считалось неприличным обсуждать вопросы пола даже в семье. И вот эта самая строка вдруг вспомнилась мне в поезде. «Пол», я была уверена, означал всего лишь принадлежность к девочкам или мальчикам. Но почему-то при слове «грех» тетя Янс очень сердилась, а сама я никак не могла разобраться, что означают два этих слова вместе. Поэтому я и спросила, сидя рядом с папой в купе поезда:

— Папа, что такое «половой грех»?

Отец посмотрел на меня долгим задумчивым взглядом, как смотрел всегда, обдумывая ответ на мой вопрос, и, к моему величайшему изумлению, ничего не сказал. Но когда поезд уже снижал скорость, подъезжая к перрону, он встал, снял с полки саквояж и, поставив его передо мной, спросил:

— Ты понесешь его, Корри?

Я тупо уставилась на него и с минуту молчала: саквояж был набит часами и запасными частями, купленными в то утро.

— Но ведь он слишком тяжелый, — наконец пробормотала я.

— Да, — согласился отец. — И плохим был бы я отцом, если бы разрешил своей маленькой дочери тащить такую тяжесть. Вот так же точно и с грузом знаний, Корри. Некоторые знания слишком тяжелы для детей. Когда ты вырастешь и станешь сильнее, ты уже сможешь вынести их. А пока доверь мне нести этот груз за тебя.

И я вполне удовлетворилась таким ответом. Более того, я совершенно успокоилась. В словах отца заключался ответ не только на этот, но и на многие другие вопросы: ведь отныне я со спокойной душой могла верить их до поры отцу...

По вечерам в нашем доме всегда звучала музыка и было весело. Гости приносили с собой флейты и скрипки, а так как каждый в нашей семье на чем-нибудь играл или пел, то мы собирали вокруг пианино целый оркестр. Исключение составляли только вечера, когда мы шли на концерт в город. Купить билеты нам было не по карману, поэтому мы вместе с другими меломанами слушали музыку на улице, возле служебного входа. В холодные вечера маме и Бетси трудно было выстоять несколько часов подряд, но кто-нибудь из нашей семьи обязательно слушал до конца — и в дождь, и в снег, и в мороз.

Но больше всего любили мы концерты в кафедральном соборе Сент-Баво. Один наш родственник служил там ночным сторожем. Он впускал нас через боковую дверь в свою комнату, и мы рассаживались на длинной скамье вдоль каменной стены, дрожа от холода, так как мраморные плиты пола в соборе даже летом оставались холодными.

Органист касался клавиш — и мне казалось, что сам Моцарт играет на золотом органе, а звуки льются прямо с небес, из врат рая, который похож на собор Сент-Баво. Но если рай похож на наш собор, то в нем сыро и холодно и согреться могут только те, кто заплатил деньги за маленькие жаровни, которые выдаются у входа? Нет, подумалось мне, в настоящем раю жаровни дают всем продрогшим бесплатно...

...Я поднималась следом за мамой и Нолли по темной прямой лестнице без перил. К волосам прилипла паутина, а под ногами шмыгали мыши.

Мы шли навестить одну из многих семей, живших по соседству, над которыми наша мама взяла опеку. Нам, детям, даже в голову не приходило, что мы сами бедны: бедными были люди, которым мы помогали.

Прошлой ночью в этой семье умер ребенок, и мама несла корзину с едой, чтобы хоть чем-то помочь несчастным людям. Она болезненно морщилась, поднимаясь по лестнице, то и дело останавливалась передохнуть. Наконец на самом верху распахнулась дверь, и мы вошли в комнату, набитую людьми, служившую одновременно и кухней, и спальней, и столовой. Я застыла на пороге: справа от входа лежал в самодельной детской кроватке мертвый младенец. Я уставилась на крохотное неподвижное создание, чувствуя, как бьется в моей груди сердце. Нолли — она всегда была смелее меня — протянула руку и дотронулась до желтоватой щеки. Я попыталась сделать то же самое, но невольно отпрянула, испугавшись. Во мне боролись ужас и любопытство. Наконец я собралась с духом и прикоснулась к крохотной ручке. Она была холодной.

Этот холод я чувствовала, когда мы возвращались домой; мне было зябко, когда я умывалась перед ужином, меня знобило даже в натопленной столовой. Между мною и каждым знакомым лицом возникала

ледяная ручка младенца. Раньше смерть, хотя о ней и говорила так часто тетя Янс, оставалась для меня не более чем пустым словом. Теперь же я знала, что смерть существует и что она может настигнуть каждого — ребенка, маму, папу, Бетси.

Все еще дрожа от этого холода, я побрела следом за Нолли наверх, в нашу спальню, и легла рядом с ней на кровать. Вскоре мы услышали на лестнице шаги отца, которого с нетерпением дожидались каждый вечер. Мы не могли уснуть, пока он не приходил и не расправлял особым образом одеяло, ласково поглаживая наши головки. В такие минуты мы старались не шевелиться. Но в тот вечер, едва отец вошел, я вскочила, кинулась ему на шею и разрыдалась.

— Папочка, не умирай! — всхлипывала я. — Ты нужен мне!

Нолли тоже села на кровати.

— Мы навещали госпожу Нуг, — пояснила она.

— Корри, — мягко произнес отец, присаживаясь рядом с Нолли. — Когда мы ездили в Амстердам, ты помнишь, когда я давал тебе твой билет?

Я шмыгнула носом, прежде чем ответить:

— Перед тем, как войти в вагон.

— Верно. Наш Отец на небесах знает, когда и что нам нужно. Не забегай вперед Него, Корри. Когда наступит час кому-то из нас умереть, ты заглянешь в свое сердце и найдешь там силы, чтобы пережить это. В свое время...

# Карел

Впервые я встретила Карела на одной из вечеринок. Потом я уже никак не могла припомнить, были это день рождения, годовщина свадьбы или что-то еще: мама могла устроить пир по любому поводу.

Виллем представил Карела как своего товарища из Лейдена, и он поздоровался с каждой из нас за руку.

Я пожалала его сильную продолговатую ладонь, взглянула в его карие глаза — и бесповоротно влюбилась.

Едва подали кофе, я уставилась на него и стала разглядывать. Он совсем не обращал на меня внимания, что, впрочем, было вполне естественно: мне было 14 лет, а Карел и Виллем уже учились в университете, отращивали жиденькие бородки и, разговаривая, пускали кольца табачного дыма.

Я довольствовалась уже одним тем, что нахожусь рядом с Карелом; а к тому, что меня не замечают, успела привыкнуть. Это Нолли относилась к тому типу девочек, на которых мальчики обращают внимание, хотя она и делала вид, что ее это не волнует. Когда очередной вздыхатель, в соответствии с традициями того времени, просил ее локон, она просто выдергивала несколько ворсинок из старого ковра, перевязывала их сентиментальной голубой ленточкой и отправляла

меня в качестве посыльного. Ковер лысел, а груда разбитых сердец в школе росла.

Зато я влюблялась поочередно во всех мальчиков в классе, но из-за своей весьма неброской внешности так и не набралась мужества поставить кого-нибудь из них в известность, так что целое поколение юношей так и не узнало, что творилось в сердце девочки с тридцать второй парты.

Но Карел, думала я, глядя, как он кладет сахар в чашку, будет исключением: его я намеревалась любить вечно.

В следующий раз я увидела Карела два года спустя, когда вместе с Нолли приехала в Лейден повидаться с Виллемом. Более чем скромно обставленная комната брата находилась на пятом этаже частного дома. Он заключил нас обеих в свои медвежьи объятия.

— Вот! — воскликнул он, подавая с подоконника бисквит с кремом. — Это вам. Не теряйте времени даром, с минуты на минуту сюда должны заявиться мои друзья.

Усевшись на кровать, мы с Нолли навалились на драгоценный бисквит, из-за которого, как я подозревала, наш брат остался без обеда. Через несколько минут дверь распахнулась, и в комнату ввалились четверо высоких молодых людей. Среди них был и Карел.

Я положила в рот последний кусок бисквита, незаметно вытерла руки о подкладку юбки и встала. Виллем представил нам своих друзей.

— А мы уже знакомы, — пробасил Карел, отвешивая легкий поклон. — Ведь мы встречались у вас на вечеринке, не так ли?

Я взглянула на Нолли — но нет, Карел смотрел прямо на меня! Сердце мое затрепетало, но во рту, как назло, был бисквит, и я промолчала. А вскоре юноши уже сидели у наших ног на полу и с жаром говорили все разом.

Нолли включилась в беседу очень непринужденно. Ей было восемнадцать лет, она уже носила длинную юбку, в то время как я со стыдом думала о своих толстых чулках, видневшихся между подолом и башмаками. К тому же Нолли год назад поступила в педагогическое училище, хотя, в общем-то, и не собиралась быть учительницей. Но в то время университеты не выделяли стипендий для девушек, а учеба в училище не была слишком обременительной для нашего семейного бюджета.

И вот она свободно болтала о вещах, интересных для студентов: о теории относительности Эйнштейна, о том, достигнет ли адмирал Пири Северного Полюса.

— А ты, Корри, тоже станешь учительницей? — с улыбкой спросил Карел.

Я почувствовала, что краснею.

— Я имею в виду, ты будешь поступать в училище? Ведь в этом году ты заканчиваешь среднюю школу?

— Да, — сказала я. — То есть нет, я останусь дома с мамой и тетей Анной.

Это вышло так буднично и совсем не романтично. Ну почему я сказала так мало, если хотела сказать так много?

В ту весну я окончила школу и взвалила на себя обязанности домохозяйки. Хотя и предполагалось, что когда-нибудь я буду этим заниматься, но немедленно начать работать пришлось из-за серьезной причины: у тети Беп обнаружили туберкулез.

Болезнь в то время считалась неизлечимой, а пребывание в санатории стоило очень дорого. Поэтому тетя Беп была вынуждена лежать в своей комнате всю оставшуюся жизнь.

Чтобы уменьшить риск заражения, к ней заходила только тетя Анна. Она постоянно ухаживала за своей старшей сестрой, порой не спала ночами, и поэтому всю стирку и работу на кухне выполняла я.

Работа мне нравилась, и я была бы совершенно счастлива, если бы не беда с тетей Беп, — она омрачала все. Принося или забирая у тети Анны подносы, я иногда заглядывала через ее плечо в каморку тети Беп. Там хранились трогательные предметы, оставшиеся на память о тридцати годах жизни по чужим углам: флаконы из-под духов, подаренных ей на Рождество хозяевами, выцветшие фотографии воспитанников, которые теперь уже сами, наверное, имеют детей и внуков. Потом дверь захлопывалась, а я все стояла в узеньком коридорчике, переполняемая желанием сделать для тети Беп что-нибудь хорошее, как-то ей помочь.

Однажды я заговорила об этом с мамой. Она и сама все чаще лежала в постели после легкого удара, случившегося с ней при очередном удалении желчных камней и сделавшего дальнейшее хирургическое вмешательство невозможным, что обрекало ее на невыносимые страдания в случае приступа. Когда я вошла к ней, мама писала письма: если она не снабжала нуждающихся соседей одеждой или едой, то сочиняла ободряющие послания тем, кто не мог выходить из дома, ничуть не смущаясь тем обстоятельством, что сама была большую часть жизни затворницей.

— Ты только представь себе, — воскликнула она, заметив меня. — Этот бедняга три года провел взаперти, не видя белого света!

— Мама! — я бросила взгляд на единственное окошко, выходящее на глухую кирпичную стену на расстоянии чуть более метра. — Мы можем помочь тете Беп? Я хочу сказать, разве это не печально, что она вынуждена проводить свои последние дни там, где все ей не нравится. Вместо того, чтобы хоть немного пожить где-нибудь, где она была бы счастлива. У Валлерсов, например?

— Корри! — сказала мама, отложив перо. — Беп счастлива у нас ровно настолько, насколько она была бы счастлива в любом другом месте.

Я молча уставилась на нее, ничего не понимая.

— Тебе известно, когда она начала восхвалять этих Валлерсов? — продолжала мама. — В тот самый день, когда ушла от них. Но пока она у них жила, от нее можно было услышать одни лишь жалобы. Валлерсы не шли ни в какое сравнение с ее предыдущими хозяевами — ван Хоксами. А у ван Хоксов она влачила жалкое существование. Запомни, Корри: счастье не зависит от нашего окружения, счастье — это то, что мы сами создаем в своем сердце.

Смерть тети Беп сказалась на ее сестрах по-разному: мама и тетя Анна удвоили свои усилия в оказании помощи нуждающимся, словно бы осознав, сколь краток срок, отпущенный каждому для его деяний, а тетя Янс, в свойственной ей манере, изрекла:

— Подумать только! Ведь это вполне могло бы случиться и со мной!

Спустя примерно год после кончины тети Беп нашего домашнего врача сменил новый доктор, по имени Ян ван Вен, с помощницей, своей родной сестрой, Тиной ван Вен. Наш новый врач принес с собой прибор для измерения кровяного давления, и все наше семейство не без любопытства подверглось этой процедуре.

Проникнувшись симпатией к новому доктору и его диковинному прибору, тетя Янс, обожавшая всякое медицинское оборудование, консультировалась отныне настолько часто, насколько позволяли ее финансовые возможности. Два года спустя доктор обнаружил у тети Янс диабет. В то время такой диагноз равнялся смертному приговору, так же, как и туберкулез. Тетя Янс слегла, едва услышав эту ужасную новость.

Однако бездействие плохо уживалось с ее натурой, и однажды утром, к общему удивлению, она вышла к завтраку ровно в 8.10 и объявила, что врачи часто ошибаются.

— Все эти анализы и пробырки, — сказала она, когда-то верившая в них безоговорочно, — что на самом деле они доказывают?

С этого момента она с большим рвением занялась сочинительством, выступлениями, организацией клубов, разработкой всяких проектов, чему немало способствовало то обстоятельство, что в 1914 году Голландия, как и вся Европа, готовилась к войне. Улицы Харлема заполнились молодыми людьми в военных мундирах. Наблюдая за тем, как они слоняются без дела по Бартельорис-страат, тетя Янс загорелась идеей создания солдатского центра.

Для того времени это был весьма оригинальный замысел, и тетя Янс вложила в его осуществление все способности своей деятельной натуры.

Конку на нашей улице давно заменил трамвай, который тоже с визгом тормозил напротив нашего дома, рассыпая искры, когда тетя Янс с непреклонным видом поднимала палец. Она поднималась в вагон, придерживая одной рукой подол своей черной юбки, а в другой сжимая список состоятельных дам, намеченных ею на роль покровительниц защитников отечества. И лишь те, кто хорошо знал тетю Янс, понимали, что за ее бурной деятельностью скрывался чудовищный страх перед неминуемым скорым уходом в иной мир.

А тем временем ее болезнь усугубила наши денежные затруднения: каждую неделю приходилось делать анализ крови на содержание сахара, а это была сложная и дорогая процедура, требовавшая визита самого доктора ван Вена или его сестры. В конце концов Тина ван Вен обучила меня всем премудростям этой

процедуры, и я могла выполнять ее без посторонней помощи. Требовалось произвести ряд последовательных операций, самой сложной из которых было нагревание компонентов пробы до определенной температуры. Очень трудно было приспособить для этой цели нашу угольную печь в полутемной кухне, но я все-таки наловчилась и каждую пятницу сама делала анализ. Если смесь после нагревания оставалась прозрачной, то все было в норме. Но если вдруг она почернеет, следовало тотчас же поставить в известность доктора ван Вена.

Той весной Виллем приехал к нам на свои последние каникулы. Два года назад он закончил университет, и теперь ему оставалось перед распределением проучиться несколько месяцев в теологической школе. Мы сидели вечером все вместе за столом. Отец, разложив перед собой штук 30 часов, делал заметки в блокноте. Виллем читал нам вслух книгу по истории голландской реформации. Внезапно раздался звонок. За окном столовой висело зеркало, позволявшее нам видеть того, кто пришел. Я взглянула в него и вскочила из-за стола.

— Корри! — строго заметила Бетси. — Твоя юбка!

Я все еще никак не могла привыкнуть к своим длинным юбкам, и Бетси частенько приходилось зашивать их, так как я постоянно наступала на подол. Я быстро спустилась по лестнице: у двери с букетом нарциссов стояла Тина ван Вен. Был ли теплый весенний вечер тому причиной или же необычная, драматическая интонация в голосе брата, читавшего книгу, но я вдруг почувствовала необыкновенность происходящего.

— Это для твоей мамы, — сказала Тина, передавая мне цветы. — Надеюсь, она...

— Нет-нет, лучше сама вручи их ей, — сказала я, — они тебе очень к лицу!

Я схватила Тину за руку и потащила ее наверх, в столовую. Мне хотелось увидеть реакцию Виллема. Впрочем, я уже знала, какой она будет, — точно как в романах, которые я брала читать в библиотеке, а потом много раз вспоминала сцену встречи главных героев.

Виллем медленно поднялся из-за стола, не отрывая от гостыи глаз. Отец тоже встал и произнес на свой особый манер:

— Мисс ван Вен, позвольте представить вам нашего сына. Виллем, эта юная леди — та самая, о чьем даровании и великодушии мы так много тебе рассказывали...

Я сомневаюсь, что они что-то слышали в этот момент: они смотрели друг на друга так, словно были одни не только в комнате, но и на всем белом свете.

Виллем и Тина поженились спустя два месяца после его распределения. И все время, пока шла подготовка к торжеству, у меня из головы не выходила одна мысль: Карел тоже будет на свадьбе.

День бракосочетания выдался ясный и холодный. В толпе приглашенных перед собором я сразу же увидела Карела. Он был одет, как и все мужчины, во фрак и цилиндр, но выглядел несравненно эффектнее.

Что же касается меня, то я ощущала перемену, происшедшую со времени нашей последней встречи. Теперь между нами не существовало заметной разницы в возрасте: ему было 26 лет, а мне уже исполнился 21 год. Но я осознавала теперь и другое — то, что совершенно не красива. И даже в столь романтический день я не могла избавиться от этой мысли. Я знала, что подбородок мой чересчур массивен, а ноги — длинноваты, равно как и руки. Однако, несмотря ни на что, я верила, в полном соответствии с прочитанными романами, что непременно буду красивой для человека, который меня полюбит.

В то утро Бетси целый час провозилась с моими волосами, пока не уложила их в высокие волны, и, как ни странно, волосы держались. Она же перешла мое шелковое платье, как, впрочем, и платья остальных женщин в доме, при свете лампы по вечерам, так как шесть дней в неделю она работала в магазине, а по воскресеньям шить отказывалась наотрез.

Оглядываясь вокруг, я пришла к выводу, что наша семья выглядит ничуть не хуже других. Никто бы не догадался, думала я, подходя к дверям собора, что отец отказался ради того, чтобы финансировать свадьбу, от сигар, а тетя Янс — от угля для камина в своей комнате.

— Корри?

Передо мной стоял, с цилиндром в руке, Карел, пытливо всматриваясь мне в лицо, словно сомневаясь, что перед ним на самом деле я.

— Да, — рассмеялась я в ответ, — ты не ошибся, Карел!

— Но ты так выросла, стала совсем взрослой! Раньше я всегда думал о тебе как о маленькой девочке с необыкновенными голубыми глазами. А теперь эта девочка превратилась в прекрасную юную леди!

И мне вдруг показалось, что это для нас с Карелом играет орган, и только его рука, о которой я мечтала, удерживает меня от того, чтобы не воспарить над островерхими крышами Харлема...

Это произошло в дождливый январский день, в пятницу: жидкость в стеклянной реторте на конфорке была черного цвета. Отказываясь верить глазам, я зажмурилась и взмолилась: «Господи! Пожалуйста, пусть это будет моей ошибкой!» Я мысленно повторила все операции и взглянула на пробирки и мензурки. Нет, все было выполнено точно так же, как и всегда. Значит, подумала я, это мрак на кухне всему виной! Подхватив щипцами реторту, я побежала к окну в сто-

ловой. Жидкость оставалась черной. Черной, как обувший меня страх. С ретортой в руках я спустилась в мастерскую. Отец, с увеличительным стеклом в руке, склонился над плечом новичка-подмастерья, помогая ему отобрать нужные детали. Бетси разговаривала в магазине с назойливой покупательницей: она была мне хорошо знакома, эта женщина, приходившая лишь для того, чтобы посоветоваться относительно часов, но покупавшая их потом у Канов. И хотя подобное происходило в последнее время все чаще, похоже было, что ни отца, ни Бетси это не волновало.

Едва женщина ушла, я влетела в магазин.

— Бетси, — вскричала я, показывая реторту. — Она черная! Что нам делать?

— Ты не ошиблась? — Бетси спокойно вышла из-за стойки и обняла меня.

Из мастерской появился отец. Он посмотрел сперва на реторту, потом на нас с сестрой и тоже спросил, не ошиблась ли я.

— Боюсь, что нет, отец, — чуть слышно ответила я.

— Я не сомневаюсь в том, что ты все делаешь правильно, но мы все же должны услышать заключение врача, — со вздохом промолвил он.

— Я сейчас же отнесу ему анализ!

Перелив ужасную жидкость в бутылочку, я побежала с ней по мокрым улицам к доктору ван Вену. Мне пришлось полчаса томиться в приемной. Наконец пациент вышел, и доктор Ян удалился с бутылочкой в лабораторию.

— Сомнений быть не может, — произнес он, вернувшись. — Твоей тете осталось жить не более трех недель.

Дома мы собрали семейный совет и решили сказать тете Янс правду немедленно.

— И, возможно, — сказал отец, светлея лицом, — ее многочисленные добрые дела придадут ей мужества.

— Входите! — отозвалась тетя Янс на стук. — И закройте дверь, пока меня не просквозило.

Она сидела за круглым столом и писала очередное воззвание. Увидев нас, тетя пытливым взглядом оглядела всех по очереди и, дойдя до меня, понимающе вздохнула: ведь была пятница, а я так и не сообщила ей результата анализа.

— Моя дорогая свояченица! — негромко начал папа. — Рано или поздно все дети Господа завершают счастливое путешествие. Однако, Янс, некоторым приходится отправляться к Отцу с пустыми руками, в отличие от тебя: ты предстанешь перед Ним с солидным багажом добрых дел!

— Все эти твои клубы... — начала было тетя Анна.

— Все твои сочинения! — подхватила мама.

— И фонды, — вставила Бетси.

— Твои беседы, — подала голос я.

Но все наши вымученные слова были напрасны. Лицо тети Янс исказилось гримасой отчаяния, она закрыла его ладонями и разрыдалась.

— Пустое! Пустое... — выдохнула она наконец сквозь слезы. — Что можем мы принести Богу? Наши ужимки и ухищрения? Дорогой Иисус! — прошептала она, уронив на стол руки. — Благодарю Тебя за то, что мы можем предстать перед Творцом с пустыми руками! Благодарю Тебя за то, что Ты совершил за всех, всех нас на Кресте! И за то, что, живя и умирая, нам нужно лишь одно: верить в это!

Мама обняла тетю Янс, и они прильнули друг к другу. А я словно приросла к месту, ибо созерцала подлинное таинство: при мне выдавался тот самый билет на поезд, о котором говорил мне отец.

Но вот тетя Янс взмахнула платком, давая всем понять, что время для изливания чувств истекло, и сказала:

— Оставьте меня одну. Мне надо завершить кое-какие дела. И не подумай, что это какая-то крайне важная работа, — прищурилась она почти насмешливо, взглянув на отца. — Просто мне не хочется оставлять неубранным мой стол...

Через четыре месяца после похорон тети Янс пришло долгожданное приглашение от Виллема на его первую публичную проповедь в Брабанте, милом сельском уголке на юге Голландии, куда его направили на пасторское служение. По уставу голландской реформатской церкви первая проповедь пастора в его конгрегации — самое торжественное событие для всех членов церкви, его родных и друзей, на которое принято приезжать даже издалека и гостить несколько дней.

Карел уведомил Виллема о своем приезде письмом, в котором, в частности, говорилось, что он «с нетерпением ждет встречи со всеми». Последнему слову я придала особый смысл и начала лихорадочно наглаживать плаття и упаковывать чемоданы.

Маме в ту пору нездоровилось. Забившись в угол купе, она всю дорогу смотрела на небо, не замечая ни грустных глаз наблюдавшего за ней отца, ни нашего веселого настроения, ни нежно-зеленых июньских тополей за окном: важнее всего для нее были облака, пронизанные лучами солнца, и нескончаемые голубые дали.

Церковь в деревушке Маде, где предстояло служить Виллему, показалась нам огромной, как и дом Виллема и Тины напротив нее, через дорогу. Первое время я даже не могла уснуть, пугаясь непривычно высоких потолков в отведенной мне комнате, и хотя каждый день в гости к брату прибывали все новые и новые люди — дяди, кузены, друзья, мне все казалось, что дом наполовину пуст.

Спустя три дня после нашего приезда в Маде я отворила на стук парадную дверь — на пороге стоял Ка-

рел! Он бросил свой саквояж, схватил меня за руку и увлек за собой на улицу:

— Какой чудесный сегодня день, Корри! Пошли гулять!

Мы гуляли вместе каждый день, уходя все дальше и дальше от деревни по бесчисленным дорожкам и тропкам, наслаждаясь даже землей под ногами, столь отличной от брусчатки Харлема, и стараясь не думать об охватившей Европу войне. Здесь, в нейтральной Голландии, солнечные дни безмятежно следовали один за другим, и трудно было поверить, что где-то происходит это кровавое безумство. Только несколько человек, в том числе и Виллем, утверждали, что эта война явится трагедией и для Голландии. Свою первую проповедь брат посвятил именно этой теме. «Весь мир меняется, — говорил он, — и какая бы сторона ни одержала победу, прежний образ жизни навсегда канул в Лету». Слушая Виллема, я разглядывала непроницаемые лица его паствы и понимала, что им все это безразлично.

Вскоре друзья и родственники, приехавшие изда- лека, начали разъезжаться по домам. Однако Карел не торопился с отъездом. Наши совместные прогулки стали еще продолжительнее. Мы говорили о будущем Карела и сами не заметили, как перешли на обсужде- ние нашей совместной жизни. Мы воображали, что у нас будет большой старинный дом, как у Виллема, об- наружили полное совпадение взглядов на выбор мебе- ли, и лишь в одном наши планы расходились: Карел хотел иметь четверых детей, я же мечтала о шестерых.

И при всем этом слово «женитьба» ни разу не было сказано вслух.

Как-то раз, когда Карел зачем-то отлучился, из кухни с двумя чашками кофе вышел Виллем, за ним — Тина.

— Корри, — протягивая мне чашку, сказал Виллем, — Карел дал тебе повод надеяться, что он...

— Имеет вполне серьезные намерения! — закончила за него Тина.

На моих щеках проступил предательский румянец.

— Я... Нет, но мы... Почему вы спрашиваете?

Виллем тоже покраснел.

— Потому, Корри, что этого никогда не будет. Ты не знаешь семьи Карела. С самого его детства все родственники мечтали только об одном: чтобы Карел удачно женился. Они всем пожертвовали ради этого, это смысл их жизни...

Огромная гостиная вдруг показалась мне пустой и неуютной.

— Но как насчет того, чего хочет сам Карел? Ведь он уже не маленький мальчик!

Виллем пристально посмотрел на меня и медленно произнес:

— Он сделает это, Корри! Я не говорю, что он хочет этого. Для него это просто непреложный жизненный факт. Когда мы в университете разговаривали с ним о девушках, которые нам нравились, он всегда добавлял в конце: «Конечно же, я никогда не женюсь на ней, это убило бы мою мать!»

Я выбежала в сад. Этот старый, мрачный дом стал мне неприятен, как и сам Виллем, с его способностью видеть плохую сторону вещей. В саду все было совсем иначе. Здесь не было кустика, даже цветка, которым бы мы не любовались вместе с Карелом, который не хранил бы частицу наших чувств. Пусть Виллем и был докой в политике, войне и теологии, но в истинных, глубоких чувствах он явно не разбирался. Почему же в романах все эти семейные надежды, мечты о деньгах, престиже непременно кончаются крахом?

Карел уехал из Маде спустя неделю, и прощальные его слова вновь вселили в мое сердце надежду. И лишь много позже припомнилось мне звучавшее в его голосе отчаяние. Мы ожидали на дороге перед домом экипаж, который должен был отвезти Карела на станцию. Мы уже попрощались, и хотя я и была огорчена тем, что он так и не сделал мне предложения, но в глубине души радовалась возможности еще немного побыть с ним рядом. Карел вдруг сжал мои руки и с какой-то мольбой воскликнул, глядя мне прямо в глаза:

— Пиши мне, Корри! Пиши обо всем, что происходит в вашем доме! Мне важно знать каждую мелочь. Пиши мне, как отец забывает высылать счета клиентам, пиши... О Корри! Ваш старый, тесный дом в Харлеме — самый прекрасный и счастливый дом во всей Голландии!

И это было на самом деле так, когда папа, мама, Бетси, Нолли, тетя Анна и я вернулись в Харлем. Наш дом всегда был счастливым местом, но теперь любое событие казалось мне выдающимся, потому что я разделяла его с Карелом. Любое блюдо, которое я готовила, предназначалось ему, каждая вычищенная до блеска кастрюля сияла для него, каждый взмах веника был выражением любви.

Письма от Карела приходили не столь часто, как я отправляла ему. Пресвитер церкви, писал Карел, доверил ему посещение богатых членов конгрегации, поэтому свободного времени почти не оставалось. Весточки от Карела приходили все реже и реже. Незаметно пролетело лето, наступила осень. В один из погожих ноябрьских дней, когда я мыла в кухне посуду после обеда, внизу, у бокового входа, раздался звонок. Я помчалась вниз и распахнула дверь — передо мной стоял Карел. Рядом с ним улыбалась молодая женщина. Я приняла у нее шляпу, украшенную шикарными

развевающимися перьями, стараясь не глядеть, как эта особа в белых перчатках и горностаевой горжетке виснет на руке Карела. Потом все вдруг помутилось у меня перед глазами, потому что Карел сказал:

— Корри, позволь мне представить тебе мою невесту.

Видимо, я что-то сказала в ответ и, должно быть, провела их наверх, в комнату тети Янс, служившую теперь гостиной. Помнится, сбежалась вся семья, начался возбужденный разговор, пожимание рук, предложение стульев, кофе, так что мне и не требовалось что-либо делать и говорить. Тетя Анна принесла кофе и пирожные. Бетси заняла молодую леди беседой о зимних фасонах, а папа засыпал Карела вопросами типа того, пошлет ли президент Вильсон американские войска во Францию.

Кое-как прошло полчаса, каким-то образом я заставила себя пожать руку девушки, потом — руку Карела и пожелать им обоим счастья. Бетси проводила их до двери, и не успела захлопнуться за ними дверь, как я уже взлетела наверх в свою спальню и разрыдалась.

Не помню, как долго лежала я, оплакивая свою единственную любовь в жизни, когда на лестнице послышались знакомые шаги. На мгновение я снова стала маленькой девочкой, с замирающим сердцем ожидающей прикосновения ладони отца к моему лбу, и внезапно мне стало жутко от мысли, что вот сейчас он присядет на край кровати и скажет: «Не плачь, моя девочка, скоро ты полюбишь другого», и что после этого между нами возникнет отчуждение из-за этой его лжи, ибо сердце подсказывало мне, что у меня никогда уже никого не будет, кроме Карела.

Конечно же, отец не произнес неискренних слов. Он сказал:

— Корри, ты знаешь, что приносит нам самую сильную боль? Любовь. Любовь — это самая страшная сила

на свете, и если она не встречает ответного чувства, то заставляет нас страдать. Когда такое случается, можно сделать две вещи. Можно убить свое чувство, но в этом случае погибнет и частичка нас самих. Либо, Корри, можно попросить Бога открыть другой путь для этой любви. И если ты попросишь Его, Он даст тебе любовь, которую уже ничто не сможет уничтожить. Когда мы не можем любить в обычном понимании этого слова, Корри, Всевышний может дать нам иной прекрасный способ...

Слушая отца, я еще не знала, что обретаю большее, чем способ преодолеть свою боль и выйти из тупика. Не знала, что отец дает мне секрет преодоления еще больших трудностей, с которыми мне вскоре придется столкнуться. Тогда мне хотелось просто сохранить ощущение радости и света при воспоминаниях о Кареле. И я прошептала самую пылкую молитву:

— Господи, — молила Его я, — возьми мои чувства к Карелу, все мои сокровенные мечты о будущем, возьми все-все и дай мне умение относиться к Карелу иначе, так, как знаешь один только Ты, Господи! Один лишь Ты!

И едва я произнесла эти слова, как уснула.

## Магазин часов

Я мыла большое окно, стоя на стуле в столовой и время от времени кивая прохожим, когда услышала, что в кухне плещется вода. «Что-то непохоже на маму», — подумалось мне: она всегда была очень бережлива и ничего не тратила попусту.

— Корри! — донесся мамин шепот.

— Что, мама?

— Корри!

И тотчас же я догадалась, что вода льется из раковины, где мама чистила картофель, на пол. Я спрыгнула со стула и побежала на кухню. Мама стояла, вцепившись в кран, и странно смотрела на меня, а вода лилась ей прямо на ноги. Я разжала ее пальцы, завернула кран и сказала:

— Мама, ты заболела! Пойдем, я уложу тебя в постель!

— Корри...

Я обняла маму за плечи и повела через столовую к лестнице. На мой зов прибежала тетя Анна. Мы вместе довели маму до спальни, уложили ее в кровать. Я помчалась в магазин за отцом и Бетси.

Почти час мы с ужасом беспомощно смотрели, как развивается кровоизлияние в мозг. Сперва маме па-

рализовало руки, потом ноги. Прибывший доктор ван Вен не мог ничем помочь. Последним покинуло маму сознание: глаза ее долго оставались открытыми и смотрели на нас с удивлением и испугом, пока не закрылись, как нам показалось, навсегда. Но доктор сказал, что это лишь кома, из которой для мамы два пути — к жизни или к смерти.

Два месяца мама находилась в беспмятстве, и все мы поочередно дежурили возле нее. И вот однажды утром она открыла глаза и оглядела нас с тем же выражением испуганного удивления. К ней вернулась способность двигаться, но лишь с посторонней помощью. Держать вязальный крючок или иглу она уже не могла.

Мы переместили ее из маленькой спальни в комнату тети Янс, где она имела возможность смотреть в окно, выходящее на Бартельорис-страат. Рассудок ее вскоре полностью вернулся, но произносить мама могла лишь три слова: «да», «нет», «Корри».

Мы с ней придумали игру, помогавшую нам понимать друг друга, нечто вроде вопросника.

— Корри! — говорила мама.

— Что, мама? Ты о ком-нибудь думаешь?

— Да.

— О ком-то, кого ты видела в окно?

— Да.

— Это мужчина?

— Нет.

Значит, это женщина, которую мама знала много лет.

— Мама, я готова поспорить, что сегодня у кого-то день рождения! — восклицала я и перечисляла имена до тех пор, пока не слышала ее радостное «да». После я писала этому человеку маленькое послание в духе того, что мама видела его в окно и желает ему счастливого дня рождения. Я вкладывала в мамины пальцы ручку, и

она подписывала письмо угловатой загогулиной. В скором времени ее подпись узнавали уже многие.

Наблюдая за мамой, я сделала еще одно открытие. Раньше мамина любовь проявлялась в постоянных заботах обо всех нас. Но теперь, когда она ничего не могла делать, любовь приобрела иное качество: мама сидела в кресле возле окна и просто любила нас. Она любила людей на улице, ее любовь распространялась на весь город, на всю Голландию, на весь мир! Так я узнала, что любовь больше, чем стены, в которых она заперта.

Все чаще Нолли говорила о своем молодом коллеге по школе, где она преподавала, по имени Флип ван Вурден. К тому времени, когда господин ван Вурден нанес нашему отцу официальный визит, тот уже успел усовершенствовать свое родительское благословение, многократно повторяя его вслух.

Накануне брачной церемонии, когда мы с Бетси укладывали маму в постель, она неожиданно расплакалась. С помощью нашего вопросника мы выяснили, что она рада свадьбе, ей нравится Флип, но ее просто убивает, что она не сможет поговорить с Нолли с глазу на глаз перед первой брачной ночью. Пришлось тете Анне подниматься к невесте в комнату и проводить беседу о предмете, в котором она сама ничего не понимала. Но традиция была соблюдена: старшая по возрасту женщина напутствовала младшую, без чего было так же невозможно обойтись, как и без обручального кольца. Щеки наставницы при этом пылали.

Весь следующий день Нолли сияла. Но я смотрела не на ее длинное белое платье, а на маму, одетую, как всегда, в черное, но выглядевшую совсем юной, с глазами, излучающими огромное счастье по случаю величайшего праздника, когда-либо отмечавшегося в доме тен Боомов.

Мы с Бетси заблаговременно усадили ее в церкви на первую скамью, и я была уверена, что большинство ван Вурденов даже не догадывалось, что эта милая улыбающаяся дама не в состоянии самостоятельно ни ходить, ни разговаривать.

Когда появились жених и невеста, я впервые вспомнила о своих былых мечтах, что когда-нибудь и я вот так же пройду вместе с Карелом в белом платье, и посмотрела на Бетси, сидевшую с другой стороны от мамы. Она всегда знала, что из-за своего слабого здоровья не сможет иметь детей, и поэтому решила не выходить замуж. Теперь ей было уже за тридцать, мне — 27 лет, и ясно было, что так тому и быть дальше: Бетси и я, две незамужние дочери, останутся жить в доме родителей. Но это была счастливая, а не грустная мысль, потому что в это самое мгновение я поняла, что Господь внял моей мольбе: ведь воспоминания о Кареле не принесли мне ни малейшего страдания и были наполнены той же светлой любовью, какой я любила его в 14 лет.

— Господь Иисус, — прошептала я, — сохрани Карела и его жену, приблизь их друг к другу и к Себе!

И я точно знала, что моя молитва была услышана.

Но самое великое чудо этого дня свершилось позже. Когда все запели мамин любимый гимн «Слава Тебе, Господь Иисус!», я вдруг услышала слабый мамин голосок! Он звучал все отчетливей, и хотя теперь не был так высок и чист, как раньше, — для меня это был голос ангела.

Гимн закончился, а когда все мы сели, в наших глазах блестели слезы. Мы надеялись, что это было началом маминого выздоровления. Но увы! — она не смогла вновь повторить слов этой песни. Это был момент счастья, дарованный Богом. А через четыре недели мама покинула нас навсегда, уснув с улыбкой...

В том же году, на исходе студеного ноября, Бетси простудилась. Отец запретил ей сидеть за кассой на сквозняке и уложил в постель. Близилось Рождество, и в эту горячую для магазина пору я разрывалась между кухней и прилавком. В конце концов тетя Анна настояла на том, что она сама будет готовить и ухаживать за Бетси. Я заняла рабочее место за прилавком и... пришла в ужас: дела наши были в полнейшем беспорядке!

Из вороха документов невозможно было понять, остаемся мы с прибылью или прогораем, оплатил заказчик счет или нет, мало мы берем за работу или много. Я кинулась в книжную лавку, потратилась на новый комплект бланков и объявила войну безалаберности. Разобравшись с платежными ордерами и расспросив отца о разных деталях нашего дела, я наконец выработала систему ведения учета и ценообразования. Постепенно колонки цифр в бухгалтерской книге стали более-менее соответствовать реальному положению вещей. Мало того, оставаясь наедине с каталогами и прейскурантами в закрытом магазине, с мелодично тикающими и сверкающими при свете газовой лампы часами, я вдруг обнаружила, что вошла во вкус деловой стороны нашего ремесла, полюбила энергичный и беспокойный мир торговли.

По ночам Бетси сильно кашляла, и я молилась за ее скорейшее выздоровление.

Однажды вечером, за два дня до Рождества, когда я уже закрывала магазин, через боковой вход проскользнула Бетси с букетом цветов в руках. Увидев меня, она смутилась и потупилась, словно провинившийся ребенок.

— Ну это же для Рождества, Корри! — взмолилась она. — Мы же не можем остаться на праздник без цветов!

— Бетси тен Боом! — взорвалась я. — Не удивительно, что ты не поправляешься!

— Но я же почти все время лежу в постели, честно... — она запнулась, раздираемая кашлем. — И если я и вставала, то исключительно ради серьезных дел... — плечи ее вновь судорожно затряслись.

Я уложила ее в постель и осмотрела дом с целью выявления следов этих «серьезных дел». Как же невнимательна я была! Бетси повсюду приложила руки. Я вернулась в спальню и представила ей доказательства нарушения режима.

— Скажи, Бетси, было ли необходимо переставлять все в буфете?

— Да, необходимо! — краснея, с вызовом отвечала Бетси. — Но ты можешь снова разложить все так, как считаешь нужным.

— А дверь в комнату тети Янс? Кто-то прошелся по ней растворителем и наждачной бумагой! А ведь это работа не из легких!

— Но ведь там такое чудесное дерево под слоем краски! Мне давно уже хотелось снять эту жуткую краску, Корри. Знаешь, я понимаю, что с моей стороны это черная неблагодарность за все, что ты делаешь вместо меня изо дня в день. Я постараюсь поскорее поправиться и избавить тебя от этих хлопот. Но, Корри, как чудесно мечтать в уединении о том, что бы ты сделала, если бы сама была хозяйкой.

Мы поменялись ролями и очень радовались этому. Если у меня дом был чист, то у Бетси он сиял. Она удивительным образом украшала все вокруг. Из денег, которых мне едва хватало на самое необходимое, Бетси выкраивала средства на неведомые нам доселе лакомства, так что теперь мы с утра уже гадали, какой десерт приготовит наша кудесница к обеду.

Большая кастрюля и кофейник, напрочь забытые мною, теперь вновь весело пыхтели на плите, и через боковую дверь опять потянулась вереница бедных одиноких стариков и замерзших мальчишек, — как в добрые мамины времена.

Между тем, занимаясь магазином, я обнаружила у себя склонность к работе, о которой раньше и не помышляла: мне захотелось не только обслуживать покупателей и вести бухгалтерский учет, но и самой ремонтировать часы! Отец с энтузиазмом взялся за мое обучение, терпеливо посвящая в названия и назначение деталей и инструментов, в премудрость наладки и смазки, мастерство шлифовки. Со временем я научилась всему, и лишь одним не дано было мне овладеть — отцовской усидчивостью и почти магическим слиянием с механизмами.

В моду вошли наручные часы, и я поступила в школу мастеров этого профиля. Окончив ее, я первой из голландок получила диплом часовых дел мастера.

Постепенно сложился тот особый ритм, в котором мы прожили двадцать последующих лет. После завтрака мы с отцом спускались в мастерскую, а Бетси колдовала на кухне с кастрюлями, овощами и фунтом баранины. Мои реформы в бухгалтерии поправили положение нашей фирмы, и вскоре мы наняли продавщицу, чтобы самим больше времени уделять ремонту и сборке.

В мастерской никогда не было пусто. К отцу все время приходили самые разные люди — за советом, помощью или просто поговорить. Без тени смущения отец склонял голову и негромко просил Господа помочь ему решить ту или иную проблему. Молился отец и во время работы. Когда какие-нибудь часы ставили его в тупик, я слышала, как он шептал:

— Господи! Ты вращаешь колеса галактик, Тебе ведомо, почему вертятся планеты! И Ты не можешь не знать, почему спешат эти часы...

Отец очень много читал и под влиянием очередного научного журнала вверял остановившиеся часы то Тому, Кто заставляет плясать атомы, то Направляющему подводные морские течения, а ответы на свои вопросы получал частенько по ночам, ибо наутро я находила часы уже собранными и весело тикающими.

Что же до успехов в торговом деле, надо признать, что мне никак не удавалось сравняться с Бетси в искусстве обращения с клиентами. Нередко при их появлении я выскальзывала через заднюю дверь и мчалась на кухню:

— Бетси, что за дама с часами-медальоном на голубом бархатном шнуре? Ну, такая полная, лет пятидесяти?

— С часами фирмы «Альпина»? Так это же госпожа ван ден Кекель. У нее брат подхватил в Индонезии малярию, и теперь она выхаживает его. Да, Корри, — тело мне вдогонку, — узнай у нее, как здоровье ребенка госпожи Ринкер!

Остававшаяся в блаженном неведении госпожа ван ден Кекель говорила своему супругу, выходя из магазина:

— Эта Корри тен Боом — такая же, как и ее сестра Бетси!

Еще в конце 20-х годов свободные кровати в нашем доме начали занимать приемные дети. В течение многих лет их звонкие голоса звучали в наших старых стенах.

Виллем к тому времени имел уже четверых, а Нолли — шестерых детей. С детьми сестры мы виделись часто, потому что они учились в Харлеме, в школе, где директором был их отец, и редкий день проходил без

того, чтобы кто-то не забегал к нам проведать дедушку, заглянуть в кухню к тете Бетси и поиграть с нашими воспитанниками. Виллем оставил место пастора в деревне, не поладив с некоторыми из членов церковного совета, и основал в Хильверсюме, в тридцати милях от Харлема, приют.

Случалось, что Нолли со всей семьей приходила к нам слушать радиоприемник — чудо техники, с которым мы впервые познакомились в доме друзей.

— Так ведь это же целый оркестр! — долго повторяли потом мы друг другу и начали откладывать деньги на собственный приемник. Но задолго до того, как скопилась нужная сумма, отец заболел гепатитом. Это чуть не стоило ему жизни. Он поседел, пока лежал в больнице. Вернулся отец домой через неделю после своего семидесятилетия. В этот день к нам пришли представители всех его друзей и принесли подарок — радиоприемник, который они купили в складчину.

Это был большой настольный аппарат с причудливым динамиком в форме раковины. Многие годы он приносил нам радость. Бетси каждое воскресенье выписывала из газет программы концертов и музыкальных передач на неделю, и мы всей семьей их слушали. Именно во время одного из таких концертов и раскрылось необычайное музыкальное дарование Петера.

Это произошло в воскресенье после обеда, когда передавали концерт Брамса. Петер вдруг громко заявил:

— Забавно, что у них там не нашлось приличного рояля!

— Тихо! — шикнула на него Нолли.

— Что ты хочешь этим сказать? — спросил Флип.

— Одна нота фальшивит, — сказал Петер.

Мы все переглянулись: что может понимать восьмилетний мальчик? Но мой отец подвел его к старому пианино тети Янс и попросил показать, какая нота.

— Вот эта! — сказал Петер, ударив по «до дизел».

Остаток вечера я просидела с племянником за инструментом, проверяя его способности, и обнаружила у него феноменальную музыкальную память и абсолютный слух. Петер начал брать у меня уроки, но за шесть месяцев овладел всем, что я знала, и продолжил образование уже под руководством более опытных учителей.

Радио внесло и еще одно изменение в нашу жизнь, хотя отец долго отказывался его воспринимать: ежедневно станция «Би-Би-Си» передавала удары Большого Бена, и, сверяя их со своими «астрономическими часами», отец отмечал удивительное совпадение показаний.

Сначала он не очень доверял Большому Бену, и, коль скоро был еще достаточно крепок, чтобы ездить в Амстердам, упорно продолжал каждую неделю сверяться с часами Морской обсерватории. Однако, убеждаясь каждый раз в идентичности показаний этих часов и сигналов Большого Бена, он стал ездить менее регулярно и в конце концов вообще прекратил поездки. Тем более, что наши «астрономические часы» уже не могли служить эталоном времени, поскольку подвергались постоянной тряске из-за оживленного движения транспорта по нашей узкой улочке. Полнейшему же унижению они подверглись в тот день, когда отец установил их стрелки по радиосигналу.

Несмотря на все метаморфозы, наша жизнь — отца, Бетси и моя — по существу почти не менялась. Воспитанники наши выросли и разъехались, время от времени навещая нас.

Грянул и канул наш столетний юбилей, и уже на следующее утро мы с отцом вновь сидели на своих обычных рабочих местах. Отец так и не оправился полностью от болезни, и я сопровождала его в наших

ежедневных прогулках. Мы выходили в одно и то же время, в обеденный перерыв, длившийся два часа, и всегда шли по одному маршруту. А поскольку прочие харлемцы были так же привержены своим привычкам, мы наверняка знали, кого увидим.

Многие из тех, с кем мы раскланивались, были старыми приятелями или покупателями, других мы знали по этим встречам: женщину с шаркающей походкой на Конинг-страат; мужчину, уткнувшегося в «Уорлд Шиппинг Ньюс» на остановке трамвая на Гро-те Маркт; пожилого человека с двумя бульдогами на поводке, прозванного нами Бульдогом. Он был нашим любимчиком: коренастый, морщинистый, скуластый и кривоногий, как и его собаки, он постоянно разговаривал с тащившими его за собой питомцами. Отец и Бульдог при встречах непременно приветствовали друг друга, касаясь кончиками пальцев полей своих шляп.

В то время как жизнь в Харлеме, да и во всей Голландии, шла своим чередом, сосед на востоке полным ходом готовился к войне. Мы знали об этом — было просто невозможно остаться в неведении: по вечерам из нашего приемника вырывался один и тот же визгливый истерический голос, заставлявший Бетси вскакивать со стула и выключать радио.

И все же нам не хотелось верить в то, что война движется. Несмотря на утверждения Виллема или пометки «адресат выбыл» на письмах нашим поставщикам-евреям в Германию, мы упорно твердили, что все происходящее — исключительно немецкая проблема.

— Немцы не станут долго терпеть этого человека! — восклицали мы.

И лишь однажды перемены, происходящие в Германии, вдруг затронули и наш крохотный магазинчик, воплотившись в молодом человеке по имени Отто,

появившемся на пороге с маленьким чемоданчиком в руке.

Немцы и прежде приезжали поработать под началом отца: его доброе имя было известно за пределами страны. И когда этот высокий юноша приятной наружности появился у нас с рекомендательным письмом от солидной берлинской фирмы, отец без колебаний взял его в ученики.

Отто с гордостью сообщил, что состоит в гитлерюгенде. Для нас оставалось загадкой, зачем он приехал в Голландию, так как ничего, кроме недостатков, он здесь не видел.

— Мир еще увидит, на что способны немцы! — говорил он.

В свой первый рабочий день Отто поднялся в столовую на чашку кофе и чтение Писания, но уже на следующий — отсиживался в одиночестве в мастерской, заявив нам, что Ветхий Завет — это еврейская «книга лжи».

Я была потрясена, отец же только огорчен.

— Его неверно учили, — сказал он мне. — Но, наблюдая, как мы любим Писание и при этом являемся порядочными людьми, он осознает свое заблуждение.

Спустя некоторое время Бетси появилась на пороге мастерской и сделала нам знак следовать за ней. Наверху, на тетином стуле из красного дерева с высокой спинкой, сидела горничная из пансионата, где жил Отто. Она рассказала, что, меняя ему постельное белье, случайно обнаружила под подушкой длинный кинжал.

— Скорее всего, мальчик хранит его там для самозащиты, — сказал отец. — Ему страшно одному в чужой стране.

Отто и на самом деле был одинок: он не говорил по-голландски и не пытался научиться, а кроме меня,

Бетси и отца, в рабочем районе мало кто знал немецкий. Мы пригласили Отто совместно проводить вечера, но то ли ему не нравились радиопередачи, которые мы слушали, то ли не устраивал обычай заканчивать вечер чтением Библии и молитвой, только он приходил редко.

Меня же с самого начала возмущало его бесцеремонное отношение к Кристофелю: он не пропускал старшего по возрасту вперед, не подавал и не помогал снять пальто, не поднимал оброненный инструмент.

Мне было трудно сдерживать свое возмущение, и однажды во время семейного обеда в Хильверсюме я сказала, что, на мой взгляд, поведение Отто — просто хамское.

— И смею вас заверить, — добавил Виллем, — юноша делает все продуманно! Дело в том, что теперь в Германии прививается неуважение к старикам, так как их труднее заставить изменить образ мышления и они не представляют для государства никакой ценности.

Мы уставились на него в полном недоумении.

— Ты заблуждаешься, Виллем, — первым нарушил тишину отец. — Юноша весьма предупредителен ко мне, я бы даже сказал — необычайно любезен. А ведь я намного старше Кристофеля!

— Так ведь ты для него начальник! — улыбнулся Виллем. — Почитание начальства — основа германской системы воспитания. Надлежит истреблять лишь старых и слабых...

Домой мы вернулись в подавленном настроении и с того дня начали присматриваться к Отто. Но откуда было нам знать, что он издевался над стариком не в мастерской, а по пути на работу: то подставит подножку, то наступит на ногу, то толкнет в спину. Кристофель был слишком горд, чтобы жаловаться нам, но в одно ненастное февральское утро, когда он появился с

разбитым лицом и в порванном пиджаке, все выплыло наружу. Кристофель и на этот раз отмолчался, но когда я выбежала на улицу подобрать его шляпу, то увидела Отто в кольце разгневанных людей, видевших, как он толкнул старого человека прямо на кирпичную стену.

Отец попытался было усовестить Отто, но он молча собрал инструменты и направился к выходу. И лишь на пороге оглянулся и посмотрел на нас с глубочайшим презрением...

## *Вторжение*

Ажурные стрелки ходиков на стене у лестницы показывали 9.25, когда мы выходили в тот вечер из столовой. Отцу уже исполнилось восемьдесят, и он раскрывал Библию на час раньше, чем прежде, зачитывал одну из глав, просил у Всевышнего благословения для всех нас и затем уходил в спальню.

Сегодня же с обращением к нации должен был выступить премьер-министр, и в 9.30 вся Голландия замерла возле радиоприемников в мучительном ожидании ответа на один вопрос: будет война или нет.

Мы поднялись в комнату тети Янс, и отец включил большой приемник. С некоторых пор мы реже, чем раньше, проводили здесь вечера: Англия, Франция и Германия воевали, и станции передавали в основном не музыку, а сводки боевых действий или шифрограммы. Даже Голландия транслировала новости с фронтов, а их можно было слушать и по маленькому приемнику, который подарил нам к Рождеству Пиквик.

Предстоящего выступления премьер-министра мы ждали с большим волнением, сидя на старинных стульях с высокими спинками. Наконец раздался звучный, проникновенный голос:

— Войны не будет, — заверял премьер-министр, — я получил заверения из высочайших источников с обеих сторон. Нейтралитет Голландии будет соблюден, как и в Первую мировую войну. Голландцам не следует опасаться, однако нужно сохранять спокойствие и...

Голос умолк. Бетси и я с удивлением подняли головы: отец выключил приемник, в его голубых глазах горел невиданный доселе яростный огонь.

— Нельзя вселять в людей надежду в безнадежной ситуации! — воскликнул он. — Нельзя основывать веру на желании. Война будет. Немцы нападут на нас, но в конце концов потерпят поражение.

Несколько успокоившись, он заговорил прежним мягким тоном:

— Дорогие мои, как мне жаль голландцев, не ведающих силы Господа! Мы будем побеждены. Но Господь — никогда! — И, поцеловав нас обеих, отец отправился в свою спальню шаркающей походкой усталого старого человека...

Я вскочила с постели и подбежала к окну. Яркая вспышка ослепила меня, я зажмурилась, и тут дом снова потряс взрыв, еще более мощный, чем тот, что меня разбудил. Небо над крышами пылало зловещим заревом. Неужели война?! Я надела халат и побежала вниз по лестнице. Я приникла ухом к двери комнаты отца: в паузах между взрывами я слышала его мерное дыхание.

Спустившись еще на несколько ступенек, я вошла в комнату тети Янс, где теперь жила Бетси. Мы обнялись.

Минуло всего пять часов после выступления премьер-министра...

Не знаю, как долго просидели мы, прильнув друг к другу. Бомбили где-то возле аэродрома. Наконец мы вышли из спальни в гостиную: она была озарена странным светом.

Мы стали истово молиться — за Голландию, за королеву, за убитых и раненных в эту страшную ночь. И вдруг — в это трудно было поверить! — Бетси стала молиться за немцев, тех, что были в небе, в самолетах, бомбивших нашу страну, за немцев, вовлеченных в огромное зло, пробудившееся в Германии. Я взглянула на сестру и прошептала:

— Господи! Внемли моей сестре Бетси, потому что я не могу молиться за этих людей...

И внезапно перед моим мысленным взором возникла странная картина. Нет, не сон, потому что я не спала, но какое-то поразительно яркое видение: на площади Гроте Маркт, напротив собора Сент-Баво, стоял старинный фургон, запряженный четверкой огромных черных лошадей. К своему изумлению, я увидела в фургоне себя, отца, Бетси и многих других. Я узнала среди них Пиквика, Тос, Виллема, Петера. Все мы поехали в этом фургоне и не могли выйти из него, и это было страшно! Все дальше, дальше увозила нас четверка лошадей — против нашей воли, я это чувствовала!

— Бетси! — вскричала я, вскакивая с колен и прижимая ладони к глазам. — Бетси, я только что видела кошмарный сон!

— Пойдем-ка на кухню, сварим кофе, — обняла меня за плечи сестра.

Взрывы звучали все реже и глуше, их сменили резкие сигналы пожарных машин. Бетси поставила на плиту кофейник, и я рассказала ей, что видела во время налета.

— Может быть, мне все это померещилось? Но ведь я не спала, Бетси! Может быть, это видение?

Сестра задумчиво поглаживала деревянную раковину, отполированную руками многих поколений тен Боомов.

— Не знаю, — наконец прошептала она. — Но если Господь предсказывает нам дурные времена, для меня довольно и того, что Он знает о них: ведь наше будущее в Его руках...

Пять дней Голландия сопротивлялась вторжению германских войск. Мы не закрывали магазин не потому, что кто-то еще интересовался часами, а потому, что люди хотели видеть нашего отца: попросить его помолиться за мужа или сына на границе или убедиться в том, что он по-прежнему сидит за своим верстаком, как сидел шестьдесят лет подряд, и услышать тиканье окружающих его часов — лучшее свидетельство неизблемости мироздания и высшего разума.

Я совершенно забросила работу, полностью отдавшись насущным хлопотам. Наш маленький радиоприемник теперь стоял на прилавке, и мы с Бетси едва успевали варить и подавать вниз кофе. Радио стало для харлемцев глазами и ушами.

Наутро после бомбежки были переданы приказы населению, среди прочих — заклеить окна на первых этажах. Все владельцы магазинов высыпали на Бартельорис-страат, чтобы обменяться впечатлениями и добрыми советами. Воцарилась атмосфера взаимопонимания. Из уст в уста передавались истории о пережитых минувшей ночью кошмарах, одна страшнее другой.

С людьми происходили поразительные метаморфозы. Один лавочник, откровенный антисемит, охотно помогал еврею, скорняку Вейлу, навешивать на витрины щиты вместо вышибленных взрывной волной стекол. Наш молчаливый и замкнутый сосед, владелец оптической мастерской, сам подошел к нам с Бетси и вызвался помочь заклеить верхнюю часть окон, до которой мы не дотягивались.

В один из последующих вечеров радио сообщило о том, чего все больше всего опасались: королева по-

кинула страну. Я вдруг расплакалась. А наутро радио оповестило всех голландцев, что границу их родины пересекают германские танки.

Весь Харлем высыпал на улицу. Мы с отцом тоже нарушили распорядок дня и отправились на прогулку в десять часов, движимые неосознанным стремлением встретить надвигающуюся опасность вместе со всем городом. Ноги сами вынесли нас сперва к мосту через Спарне, а потом — дальше, сквозь толпу, к старой дикой вишне, прозванной за свой сказочный белый весенний убор Невестой Харлема. Теперь гордость харлемцев стояла почти нагая посреди пушистого ковра из опавших лепестков, и лишь кое-где отдельные соцветия еще держались на тронутых зеленым бархатом ветвях.

Вдруг из распахнутого окна кто-то крикнул:

— Мы капитулировали!

Улица тотчас же замерла: все передавали друг другу новость. Подросток лет пятнадцати обернулся к нам и со слезами на глазах с жаром воскликнул:

— Я бы все равно дрался! Я бы не сдался!

Отец нагнулся, подобрал из лужи кусочек кирпича и вставил его в щербину на мостовой.

— Это прекрасно, сын мой, — сказал он мальчику. — Это просто замечательно, потому что Голландия только начинает сражаться за свою свободу.

Вопреки ожиданиям, жизнь в первые месяцы оккупации была довольно сносной. Труднее всего привыкалось к обилию немецкой военной формы, военных автомашин и немецкой речи. Солдаты частенько заходили к нам и охотно покупали часы самых различных типов и марок, потому что получали неплохое жалованье. Держась подчеркнуто высокомерно с нами, между собой они откровенно восхищались покупками, словно молодые люди, вырвавшиеся на каникулах

из-под родительской опеки. Особым спросом пользовались женские наручные часы: немцы брали их для своих возлюбленных и матерей в фатерланде. Выручка за первый год войны превзошла все рекорды, люди скупали все, что было в магазине, даже старинные ходики и мраморные каминные часы с парочкой медных купидонов.

Комендантский час, начинавшийся с десяти вечера, не доставлял нам неприятностей или затруднений, так как в это время мы обычно уже не работали. Но было и то, что нам очень не нравилось: необходимость постоянно иметь при себе удостоверение личности с фотографией и отпечатками пальцев, которое нужно было предъявлять по первому требованию патрульных или полицейских — харлемская полиция перешла в подчинение германского коменданта. Кроме того, были введены продуктовые карточки, и в первый год оккупации все предусмотренные ими продукты можно было купить. Газеты еженедельно сообщали, на что можно обменять эти карточки.

Было и еще нечто такое, к чему крайне сложно было привыкнуть: газеты прекратили публиковать новости. Печатали пространные сообщения об успехах германской армии на различных фронтах, панегирики германским лидерам, разоблачения предателей и саботажников и призывы к единению северных народов — все что угодно, но только не достоверные новости.

Именно поэтому мы решили сдать в комендатуру только один наш радиоприемник — портативный. Более мощный, стационарный, Петер спрятал под винтовой лестницей. Моему племяннику уже исполнилось шестнадцать лет, и он был, как и все голландские подростки, полон неутомимой энергии и жажды деятельности.

— У вас нет больше радиоприемников? — спросил меня строгий чиновник на пункте сбора, сверяясь со списком горожан. — Каспер тен Боом и Элизабет тен Боом проживают вместе с вами? Разве у них нет радио?

Я с детства знала, что земля неминуемо разверзнется под ногами лжеца, а небеса обрушатся на его голову, но не моргнув глазом ответила:

— Нет.

И, лишь выйдя из здания, затряслась мелкой дрожью: не потому, что впервые в жизни умышленно солгала, а потому, что это оказалось столь отвратительно легко сделать.

Зато наш старый верный друг с вычурным громкоговорителем был спасен. Каждый вечер мы с Бетси извлекали его из тайника, до минимума приглушали звук и, пока кто-нибудь в гостиной играл на пианино, слушали новости из Англии. И надо отметить, что эти новости первое время во многом совпадали с газетными сообщениями: немцы повсюду успешно наступали. Месяц за месяцем выслушивали мы призывы набраться терпения и мужества и не терять веру в скорую победу союзных войск, контрнаступление которых не за горами.

Немцы между тем отремонтировали разбомбленный аэропорт и начали использовать его как базу для своих самолетов, совершавших налеты на Англию. Каждую ночь, лежа в постели, мы слышали гул моторов тяжелых бомбардировщиков, направляющихся на запад. Случалось, англичане контратаковали, и тогда немецкие истребители перехватывали их как раз над Харлемом.

Однажды я долго не могла уснуть из-за их надрывного рева и ярких вспышек в окне. Наконец я услышала, что Бетси возится на кухне, и спустилась к ней. Сестра готовила чай. Мы пошли пить его в столовую,

достав из буфета лучшие чашки. Где-то ухнул взрыв, посуда задребезжала, но мы как ни в чем не бывало пили чай и разговаривали, пока шум моторов не затих. Пожелав сестре спокойной ночи, я пошла к себе в спальню. Багрянец покинул небо. В темноте я нащупала подушку и... вскрикнула: рука наткнулась на нечто твердое и острое. Это был осколок бомбы, дюймов в десять длиной.

— Бетси! — вскричала я и с осколком помчалась вниз по лестнице.

Мы вернулись в столовую, и сестра перебинтовала мне ладонь.

— Прямо на твою подушку, — повторяла она, поглядывая на осколок.

— Ведь если бы я не услышала, как ты возишься на кухне... — начала было я, но сестра прижала мне к губам палец.

— Не говори так, Корри! В Божьем мире нет слова «если», как нет места более безопасного, чем любое другое: на все воля Господа! Так давай же помолимся, чтобы впредь не забывать об этом!

Истинный ужас оккупации напал на нас исподволь.

В первый год германского правления евреи еще не подвергались чувствительным нападкам, если не считать таких мелочей, как камень, брошенный в витрину еврейской лавочки, или ругательство, начертанное на стене синагоги. Складывалось впечатление, что нацисты испытывают харлемцев, прощупывая настроение населения: поддержат ли голландцы антисемитские акции?

И, к нашему стыду, многие поддержали. С каждым месяцем набирал силу и наглел предательский национал-социалистический союз Голландии. Вступали в него по различным соображениям: кто-то исключи-

тельно из меркантильных побуждений, чтобы получить побольше продуктов, карточки на одежду, работу и жилье получше, кто-то под влиянием нацистской пропаганды, кто-то из обычной зависти к более удачливому конкуренту-еврею. Во время наших ежедневных прогулок мы с отцом наблюдали стремительное распространение антисемитской кампании: надписи на дверях магазинов типа «Евреев не обслуживаем», объявления у входа в парк, библиотеку, ресторан, театр: «Евреям доступ закрыт». В конце концов синагогу подожгли, приехали пожарные машины — но лишь для того, чтобы не дать огню перекинуться на соседние здания.

Однажды, отправившись на обычную прогулку, мы вдруг заметили, что у многих людей, в том числе и детей, на одежду нашиты желтые шестиконечные звезды со словом «еврей» в центре. Нас это поразило!

Человек, читавший газету «Уорлд Шиппинг Ньюс» на Гроуте Маркт, теперь имел звезду на аккуратно отглаженной рабочей куртке, равно как и Бульдог, с заметно обострившимися чертами лица и с явной нервозностью в голосе, когда он прикрикивал на своих собак.

Но все это было еще не так страшно. Гораздо хуже было то, что люди начали исчезать: за отремонтированными часами не приходили заказчики, в квартале Нолли вдруг опустел дом. Однажды не открылся в урочный час магазин Кана: отец постучался в дверь, когда мы проходили мимо, но никто не вышел. Магазин еще долго оставался закрытым, а окна в жилых помещениях над ним — темными, пока туда не вселилась семья активиста национал-социалистического союза. Мы так и не узнали, забрали хозяев в гестапо или они успели скрыться. Массовые облавы и аресты происходили с каждым днем все чаще.

Однажды, возвращаясь с прогулки, мы увидели, что Гроде Маркт окружена двойным кольцом солдат и полицейских. Напротив рыбного базара стоял крытый брезентом грузовик, в него загоняли мужчин, женщин и детей с желтыми звездами на груди.

— Несчастливые люди! — воскликнула я, сжимая локоть отца.

В этот момент оцепление разомкнулось, пропуская машину с арестованными, — мы проводили ее взглядами до угла.

— Несчастливые люди, — повторил за мной отец, с сожалением глядя на строившихся в колонны солдат. — Мне жаль этих несчастных немцев, Корри! Они коснулись зеницы ока Всевышнего...<sup>3</sup>

Мы стали думать, как помочь нашим друзьям-евреям.

Виллем организовал в самом начале оккупации приют для евреев — эмигрантов из Германии. Позже он был вынужден поселить туда и некоторых голландских евреев. У Виллема были адреса надежных людей, и он знал места в отдаленных районах, где было мало оккупационных войск. Больше всего Виллем опасался за своих подопечных.

— Только не их, — говорил он. — Нет, они не посмеют трогать моих стариков!

Дождливым ноябрьским утром 1941 года, спустя полтора года после вторжения германской армии, я вышла на улицу поднять жалюзи на окнах и увидела группу вооруженных немцев. Отпрянув за косяк, я стала наблюдать. Солдаты смотрели на номера домов. Напротив дома скорняка Вейла они остановились, один из солдат прикладом принялся колотить в дверь. Она распахнулась, и все четверо ворвались в магазин. Я побежала вверх, в столовую, и крикнула Бетси:

— Скорее! У Вейлов просто кошмар творится!

Мы спустились вниз как раз к моменту, когда скорняка вытаскивали из его магазина. Солдаты отвели его в сторону и вернулись в дом. «Значит, это не арест!» — сообразила я. Сверху послышался звон стекла, солдаты начали охапками вытаскивать меховые изделия. Несмотря на ранний час, возле дома собралась толпа. Сам Вейл так и застыл на месте, где его оставили солдаты. Из окна над его головой посыпалась одежда: пижама, сорочки, белье, ботинки. Медленно, как бы нехотя, старик нагнулся и стал подбирать свои пожитки. Мы с Бетси перебежали улицу, чтобы помочь ему.

— Где ваша жена? — спросила его Бетси.

Вейл отрешенно посмотрел на нее и ничего не ответил.

— Пошли к нам, — потянула я его за руку. — Быстро!

Мы затащили ошеломленного меховщика в наш дом. Отец был в столовой. Он не выразил ни малейшего удивления, увидев Вейла, и его невозмутимость несколько успокоила беднягу. Он сказал, что его супруга поехала к своей сестре в Амстердам.

— Нужно предупредить ее по телефону! — сказала Бетси. — Ей нельзя возвращаться домой.

Но где было взять действующий телефон? Как и большинство частных телефонов, наш был давно отключен. Общественные же наверняка прослушивались. И следовало ли при таких обстоятельствах вообще звонить в Амстердам и подвергать риску родственников Вейла? А куда деваться его жене, если домой ей возвращаться нельзя? Где теперь жить Вейлам? Конечно же, не у свояченицы — к ней в первую очередь нагрянет гестапо. Мы с папой переглянулись и почти одновременно воскликнули:

— Виллем!

И опять же это не такое дело, о котором можно открыто говорить по телефону, поэтому надо было ехать

к брату. Поезда во время оккупации были переполнены, ходили медленнее, чем обычно. Когда я наконец добралась до дома Виллема, было уже далеко за полдень. Брата я не застала, но Тина и ее двадцатидвухлетний сын Кик были дома. Я рассказала им о происшествии на Бартельорис-страат и дала амстердамский адрес.

— Передай господину Вейлу, чтобы он был к вечеру готов, — сказал Кик.

Было уже почти девять, когда Кик пришел за Вейлом. Сунув под мышку сверток с вещами Вейла, он увел его в ночь.

Через две недели я вновь увиделась с племянником и спросила его о судьбе скорняка и его жены. Он широко улыбнулся своей добродушной улыбкой:

— Если ты, тетя, намерена сотрудничать с подпольем, придется научиться не задавать вопросов.

Слова племянника не выходили у меня из головы.

Подполье... Если я собираюсь с ним сотрудничать... Выходит, Кик связан с нелегальной группой сопротивления? А Виллем? Мы, конечно, знали, что в стране действуют подпольщики, вернее, догадывались. В строго цензурированной прессе сообщалось едва ли о половине случаев саботажа, но слухов было немало: где-то взорвали завод, где-то остановили состав с политзаключенными — и семерым, или семнадцать, или семидесяти удалось скрыться. Слухи ходили самые невероятные и касались дел, противоречащих христианским принципам. И мы не могли не задаться вопросом: как поступать христианину, когда торжествует антихрист?

Прошел месяц после разгрома мехового магазина, когда во время прогулки мы с отцом увидели нечто такое, что заставило нас остановиться. Навстречу нам по тротуару двигался, как сотни раз ранее, знакомой

переваливающейся походкой Бульдог. Ярко-желтая звезда уже давно не удивляла нас, но что-то в облике нашего старого знакомого по прогулкам было необычным. Наконец я поняла: собаки! Их с ним не было. Бульдог прошел мимо, не заметив нас, и мы разом повернулись и пошли следом. Он свернул в переулок, остановился перед маленькой лавкой подержанных товаров, отпер дверь и вошел внутрь.

Мы с отцом переглянулись: нам стало неудобно, что мы следим за человеком, даже не зная его имени. Но любопытство пересилило, и мы заглянули в окно. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять: перед нами не нагромождение рухляди, а сокровищница ценителя красивых вещей.

— Мы должны непременно привести сюда Бетси! — сказала я.

Крохотный колокольчик над дверью мелодичным звоном оповестил хозяина о нашем появлении в его лавке. Было несколько странно видеть Бульдога без шляпы, открывающим кассовый ящик в дальнем углу. Отец театрально поклонился и произнес:

— Позвольте нам представиться: Каспер тен Боом, моя дочь Корнелия.

Бульдог пожал нам руки, и я вновь обратила внимание на глубокие морщины на его отвислых щеках.

— Гарри де Врис, — назвался он.

— Господин де Врис, — продолжал в той же изысканной манере отец, — мы столь часто имели счастье любоваться вашей привязанностью к собакам, что дерзнули полюбопытствовать, все ли с ними в порядке.

Маленький человечек уставился на нас полными отчаяния глазами.

— Все ли с ними в порядке? — дрогнувшим голосом повторил он, и на глаза его навернулись слезы. — Надеюсь, что это так. Они мертвы.

— Мертвы?! — разом воскликнули мы.

— Я сам положил им в миску с едой отраву и гладил их, пока они не уснули. Мои крошки! Мои малышки! Если бы вы только видели, как они ели! Я все ждал, пока у меня появятся карточки на мясо, ведь они ели только мясо...

Мы тупо уставились на него.

— И вы сделали это, — наконец вымолвила я, — лишь потому, что вам нечем было их кормить?

Хозяин лавки подал нам знак следовать за ним. Проведя нас в чулан, он предложил присесть.

— Госпожа тен Боом, — сказал он со вздохом, — дело не в том, что мне нечем было кормить своих крошек. Дело в том, что я еврей. Кто знает, когда они за мной придут? Моя жена не еврейка, но ведь она моя жена...

Бульдог вскинул подбородок, выпятив нижнюю массивную челюсть, пожевал губами и продолжал:

— Мы тревожились не о себе. Мы с Като — христиане. Когда мы умрем, то увидим Иисуса, остальное уже неважно. Но я сказал Като: «Что будет с нашими собачками? Кто будет поить их молоком, если нас заберут? Они не поймут, что это надолго, и будут нас ждать... Нет, так мне спокойнее...»

— Мой дорогой друг! — пожал ему руку отец. — Теперь, когда ваши питомцы не могут больше гулять вместе с вами, не окажете ли вы нам честь сопровождать вас на прогулках?

— Нет! — решительно отклонил предложение Бульдог. — Это весьма опасно для вас.

Однако он согласился навестить нас, но в безопасное время.

И однажды вечером на следующей неделе господин де Врис пришел к нам в гости со своей женой, милой и застенчивой Като. Вскоре они стали нашими постоянными гостями. Больше всего Бульдогу понравились у

нас старинные еврейские книги в большом книжном шкафу из красного дерева в комнате тети Янс.

— Ведь хоть я и стал христианином сорок лет тому назад, — с улыбкой пояснил он, — в душе я остался евреем. Законченным евреем.

Книги принадлежали харлемскому раввину. Он принес их отцу год назад «на всякий случай», виновато бормоча:

— Это мое маленькое увлечение — собирательство книг. Ведь книги, мой друг, не стареют, как мы с вами. Они все еще будут говорить, когда нас не станет, с поколениями, которых мы никогда не увидим. Книги должны пережить нас.

Раввин одним из первых пропал без вести.

Поразительно, как порой маленькое, ничем не примечательное событие знаменует собой поворот в жизни! Когда участились аресты евреев на улицах, я начала сама ходить по адресам заказчиков, чтобы не подвергать их лишней опасности. И вот однажды вечером ранней весной 1942 года я оказалась в доме супругов Хемстра, представителей древнейшей фамилии, о чем красноречиво свидетельствовала галерея семейных портретов на стенах — она вполне могла бы служить иллюстрацией к истории Голландии.

Мы непринужденно болтали о насущном — о нехватке продуктов, о карточках и новостях из Англии, когда нашу дружескую беседу прервал звонкий детский голос:

— Папа! Ты забыл пожелать нам спокойной ночи!

Доктор Хемстра, извинившись передо мной, вскочил и побежал наверх, в детскую, откуда вскоре послышалась возня и веселый смех.

Вот и все. Вроде бы ничего особенного и не произошло. Госпожа Хемстра угостила меня чаем из лепестков роз. И все же что-то вдруг переменялось в этот миг:

внутри рухнула стена оцепенения, отделявшая меня с момента немецкого вторжения от реальной жизни.

Доктор Хемстра вернулся в гостиную, беседа возобновилась. А в глубине моей души звучали сами собой слова молитвы:

«Господи, прошу Тебя, дай мне силы посвятить себя служению людям. Любым путем. В любое время и в любом месте!»

И тогда случилось нечто необычайное: прежнее видение вновь возникло перед моим мысленным взором! Та же зловещая четверка черных лошадей на Гроде Маркт, отец, я, Бетси и Виллем на повозке, расстающиеся со всем любимым и надежным, направляющиеся в неизвестность...

# *Потайная комната*

Это случилось в воскресенье, 10 мая 1942 года, спустя ровно два года после падения Голландии. Ярко светило солнце, цвели цветы, немецкие солдаты бесцельно слонялись по улицам: кто с помятой после нелегкой субботней ночи физиономией, кто в поисках легкомысленной подружки. Настроение же горожан далеко не соответствовало весенней погоде.

С каждым месяцем оккупации немцы становились все ожесточенней, ограничения — жестче и многочисленней. Особые огорчения голландцам доставил указ о запрете на исполнение национального голландского гимна.

Отец, я и Бетси направлялись в реформатскую церковь в Вельсене, маленьком городке в предместье Харлема, где Петер получил место органиста, завоевав его в конкурсе, в котором участвовали более сорока опытейших музыкантов. Орган в Вельсене считался одним из лучших в стране, и мы нередко навещали туда, хотя поезда ходили все медленней и реже.

Когда мы протиснулись сквозь толпу и присели на скамью, Петер уже играл на хорах, невидимый для публики. Церковь была переполнена.

После гимнов и молитвы настало время для проповеди. «Сегодня она мне нравится», — отметила я мысленно. Мне хотелось, чтобы и Петер относился к проповеди с большим вниманием. Но он был убежден, что проповеди интересны лишь для таких реликтов, как его мать и я: той весной мне исполнилось пятьдесят, для Петера — возраст, когда все уже позади.

Напрасно я напоминала ему, что смерть может настичь нас в любое время и нужно всегда быть готовым к ней. Он неуклонно отвечал, что слишком угоден Евтерпе и Полигимнии, чтобы умереть молодым.

Последние слова проповеди были произнесены. И вдруг собор замер: Петер заиграл национальный гимн.

Наш восьмидесятилетний отец первым встал со скамьи. Его примеру тотчас же последовали все остальные. В задних рядах кто-то уже пел, сначала тихо, потом в полный голос, слова гимна подхватили — и вот уже казалось, что вся страна исполняет запрещенный оккупантами национальный гимн, заявляя о себе, выражая свою надежду, свою любовь к Голландии и королеве, и не как поставленная на колени, но как победительница.

Потом мы долго дожидались Петера: он никак не мог протиснуться к выходу, потому что многим хотелось пожать его руку и похлопать по спине. Наконец он предстал перед нами, чрезвычайно довольный собой.

Теперь, когда экстаз миновал, я сердилась на Петера. Ведь гестапо непременно узнает о случившемся, не исключено, что уже знает: у него повсюду глаза и уши. Я не могла не думать о Нолли, готовившей дома семейный обед, о братьях и сестрах Петера, о Флипе, которого могли выгнать с работы. Ради чего, собственно, Петер рисковал? Не было ли это обычной бравадой, красивым жестом — и не более?

Но как бы то ни было, Петер стал героем Бос ен Ховен-страат. Все домочадцы наперебой заставляли нас рассказывать, как все происходило. Только две еврейки разделяли мои чувства: пожилая дама из Австрии, прозванная условно именем Катрин и выступавшая в роли одной из горничных ван Вурденов, хотя, как сообщила мне по секрету Нолли, она не умела толком застелить собственную постель, быть может, просто потому, что происходила из семьи богатых аристократов, и молодая голубоглазая блондинка из голландских евреев, по имени Анна-Лиза, имевшая безукоризненные фальшивые документы, изготовленные подпольщиками. Внешность Анны-Лизы настолько не соответствовала распространенному представлению нацистов о евреях, что она свободно расхаживала по магазинам и забирала из школы детей Нолли, выдавая себя за ее старинную приятельницу, чей муж погиб при бомбежке Роттердама.

Обе женщины, как и я, не могли понять, зачем Петер пошел на столь рискованный шаг, — ведь он несомненно привлечет внимание властей. Весь день я вздрагивала при шуме автомобильного мотора: машины теперь имелись лишь у немцев и активистов национал-социалистического фронта. Однако до вечера так ничего и не произошло.

Не могла я успокоиться и два последующих дня, а в среду утром, когда я уже решила, что либо на Петера не донесли, либо гестапо занято более важными делами, в мастерскую влетела Кокки — младшая сестра Петера:

— Дедушка! Тетя Корри! Петера забрали!

— Кто? Куда?

Но девочка не знала, и только спустя три дня стало известно, что Петер помещен в федеральную тюрьму в Амстердаме.

Часы показывали 7.55 вечера, оставалось пять минут до комендантского часа. Петер находился в тюрь-

ме уже две недели. Отец, Бетси и я сидели за обеденным столом. Отец перекаладывал из кармана в карман часы, а Бетси штопала белье. Наш огромный черный кот устроился у нее на коленях. Звонок у боковой двери заставил меня взглянуть в зеркало за окном: в переулке стояла женщина с маленьким чемоданчиком в руке, одетая совершенно не по сезону — в шубу, перчатки и шляпку с вуалью. Я помчалась вниз.

— Можно войти? — испуганно спросила гостя, озираясь по сторонам.

— Конечно! — отступая назад, ответила я.

— Моя фамилия Клермакер. Я еврейка, — оглянувшись еще раз, представилась женщина.

— Очень приятно, — протянула я руку за ее чемоданчиком, но гостя, держа мертвой хваткой, явно не намеревалась выпускать его.

— Прошу наверх, — сказала я.

Отец и Бетси встали, когда мы вошли в столовую.

— Госпожа Клермакер, мой отец и моя сестра, — представила я.

— Мы как раз собирались пить чай, — воскликнула Бетси. — Вы вовремя подоспели.

Отец предложил госте стул, и она села, не выпуская из рук чемоданчика. Чай мало походил на то, что принято под этим подразумевать: приготовленный из старой высушенной и перемолотой заварки, он был слегка подкрашенным кипятком. Но госпожа Клермакер приняла угощение с благодарностью. Она рассказала, что ее мужа несколько месяцев тому назад арестовали, сын вынужден скрываться. Накануне люди из гестапо приказали ей закрыть их магазин одежды, и теперь она боится идти домой, потому что уверена, что ее арестуют, а к нам обратилась, так как слышала, что мы приютили одного человека с нашей улицы.

— В этом доме, — промолвил отец, — Божьи люди всегда могут рассчитывать на приют.

— У нас наверху четыре свободные кровати, — добавила Бетси, — вам остается лишь выбрать одну из них. Но сперва помогите мне убрать посуду.

Я не хотела верить собственным ушам: Бетси никому не позволяла помогать ей на кухне. «Я очень сварливая старая дева», — поясняла она.

Но госпожа Клермакер живо вскочила с места, переполняемая желанием быть полезной, и принялась собирать со стола чашки и блюдца...

Спустя два дня аналогичная сцена повторилась: звонок за несколько минут до восьми, неожиданные гости, на сей раз — пожилая еврейская чета, также страшно испуганная, вцепившаяся в свои пожитки, со схожей историей об арестованных соседях и страхе перед арестом.

Вечером после молитвы мы устроили совещание.

— Наш дом находится в крайне опасном месте, — сказала я гостям, — недалеко от полицейского участка. Даже не знаю, что и придумать...

Мне было ясно, что пора наведаться к Виллему. На следующее утро, проделав нелегкий путь до Хильверсюма, я предстала перед братом.

— Виллем, — сказала я ему, — у нас в доме скрываются трое евреев. Ты не мог бы подыскать для них местечко где-нибудь в деревне?

Брат потер усталые глаза, и я вдруг заметила, как много седины прибавилось в его бороде.

— Мне самому становится все труднее, — наконец произнес он. — У меня еще есть в запасе несколько адресов, но там не примут постояльцев без продуктовых карточек.

— Без карточек? Но ведь евреям не выдают их! — вырвалось у меня.

— Я знаю, — Виллем повернулся к окну, и я впервые подумала о том, как тяжело им с Тиной кормить своих престарелых подопечных. — Я знаю это, — повторил он. — Продуктовые карточки невозможно подделать. Гораздо легче обстоит дело с удостоверениями личности: у меня есть знакомые печатники. Правда, еще нужен фотограф...

«Фотограф? Печатники? О чем он говорит?» — подумала я.

— Виллем, если людям не положено продуктовых карточек, что же им делать?

Брат посмотрел на меня, морща лоб: казалось, он совсем забыл о моих проблемах.

— Если карточек не выдают, — пожал он плечами, — их надо украсть.

Я ошеломленно уставилась на него: и это говорит пастор!

— В таком случае, Виллем, — с трудом проговорила я, — не мог бы ты украсть, то есть не мог бы ты раздобыть три продуктовые карточки?

— Нет, Корри! За мной постоянно наблюдают. Как ты этого не понимаешь? Они следят за каждым моим шагом!

Он обнял меня за плечи и продолжал уже более спокойным тоном:

— Даже если я и достану еще три карточки, все равно тебе следует обзавестись собственными источниками. И вообще, чем меньше будет контактов у тебя со мной, чем меньше любых контактов с кем-либо, тем лучше для общего дела.

Возвращаясь в переполненном вагоне домой, я вновь и вновь обдумывала слова брата.

«Обзавестись собственными источниками», — это звучало так профессионально! Но где их найти? Где взять карточки?

Кого я знаю? И в ту же минуту в моей памяти всплыло имя: Фред Корнстра!

Фред раньше приходил к нам снимать показания с электросчетчика. У него была умственно отсталая дочь, теперь уже взрослая женщина, посещавшая библейские чтения, которые я проводила для ей подобных уже в течение двадцати лет. Теперь Фред работал на новом месте, в Продовольственном управлении. Не там ли изготавливались карточки?

В тот вечер, после ужина, я поехала к Фреду домой. Шины моего старенького велосипеда сдали окончательно, и меня подбрасывало на каждой колдобине. Ну как тут было не вспомнить о своих пятидесяти годах?

Фред — человек бесхитростный и прямолинейный — дослушал до конца мое бормотание о том, что я хотела бы поговорить с ним о воскресной службе, пригласил меня войти, затворил дверь и бесстрастно произнес:

— А теперь, Корри, выкладывай, что на самом деле тебя ко мне привело.

«Господи! — мысленно взмолилась я. — Если нельзя доверяться Фреду, прерви наш разговор, пока не поздно!»

— Во-первых, мне следует тебе сказать, что у нас появились неожиданные домочадцы: сначала одинокая женщина, потом супружеская пара, а сегодня утром к ним прибавилась еще одна пара... — я запнулась, — евреев.

Ни один мускул не дрогнул на лице Фреда. Я продолжала:

— Мы можем обеспечить приют этим людям, но не можем прокормить их без продуктовых карточек.

В глазах Фреда промелькнула усмешка.

— Теперь мне понятно, почему ты здесь.

— Фред, ты можешь достать карточки?

— Никоим образом, Корри! Все карточки учитываются и переучитываются...

Заметив мое отчаяние, Фред немного подумал и сказал:

— Разве что... устроить ограбление... На прошлой неделе на утрехтское отделение был совершен налет. Правда, людей поймали. Но если подобное случится днем, когда в конторе только я и учетчик, и нас найдут связанными и с кляпом во рту...

Он сцепил пальцы.

— Я знаю человека, который мог бы пойти на такое дело. Ты помнишь...

— Нет! — прижала я палец к губам, вспомнив указание брата. — Не называй мне его имени! И не посвящай в подробности! Просто раздобудь карточки, если сможешь.

Фред посмотрел на меня с удивлением:

— Сколько карточек тебе нужно?

Я открыла рот, чтобы сказать «пять», но вместо этого непроизвольно выпалила:

— Сто!

Когда спустя неделю Фред открыл мне дверь, я вздрогнула: его лицо было в синяках, разбитая губа опухла.

— Мой приятель слишком вошел в роль, — пояснил Фред.

Но у него были карточки! Сто пропусков в надежную, обеспеченную жизнь лежали в плотном темно-коричневом пакете на столе.

Фред предусмотрительно оторвал последние купоны, дающие право на получение карточек на следующий месяц, и нам оставалось лишь выработать технику их передачи. Мы согласились на том, что мне навещать Фреда весьма рискованно, а вот визит к нам человека в униформе вряд ли у кого-нибудь вызовет подозрение.

Я занялась устройством тайника. Я решила сделать его под винтовой лестницей, недалеко от счетчика, где мы с Петером раньше прятали наш радиоприемник. Тайник получился отличный! Как бы мне хотелось, чтобы Петер сейчас был здесь, увидел мой тайник. Ему пришлось бы признать, что руки и глаза часовых дел мастера чего-то стоят.

Передачу карточек мы наметили на первое июня. Ровно в 17.30, когда Бетси выпроводит всех посетителей, Фреду предстояло прийти через боковой вход с карточками под рубашкой и положить их в тайник. К моему отчаянию, в 17.25 в мастерскую вошел полицейский.

Это был Рольф ван Влит. Я запомнила его огненно-рыжую густую шевелюру и долговязую фигуру еще на нашем столетнем юбилее, на котором он был в числе прочих полицейских. Однако этот человек не принадлежал к числу постоянных посетителей, заходивших по утрам зимой к Бетси на кухню согреться чашечкой кофе.

Рольф принес сломанные часы и явно был не против поболтать с Бетси и отцом. У меня пересохло во рту: предупредить Фреда не представлялось возможным.

Точно в назначенное время Фред появился на пороге мастерской в синей униформе. Совершенно непринужденно он поздоровался с нами и сказал, что ему нужно проверить показания счетчика. Он прошел в коридор, закрыв за собой дверь. Я услышала легкий скрип крышки тайника. Конечно же, Рольф не мог его не слышать. Дверь за моей спиной отворилась, и Фред, прекрасно владевший собой, направился прямо к парадной двери.

— Спокойной ночи, — попрощался он и степенно вышел на улицу.

Я облегченно вздохнула, но подумала, что на будущее надо придумать систему предупреждения.

В течение недели, последовавшей за появлением госпожи Клермакер, в нашем доме произошло множество событий. Получив карточки, госпожа Клермакер и пожилая чета обрели убежище в более спокойных местах. Но приходили новые люди, а с ними — новые проблемы. Где рожать беременной еврейке? Где похоронить внезапно скончавшегося старого еврея?

— Находи решение возникающих проблем сама, — учил меня Виллем.

И с того момента, как на ум мне пришло имя Фреда Корнстры, я все время обдумывала слова Виллема. Ведь мы дружили с доброй половиной Харлема! Мы знали медсестер из родильного дома, служащих в Регистрационной палате, знали людей из любой сферы жизни города.

Разумеется, мы не знали политических взглядов всех своих знакомых. Но — и при этой мысли я ощущала необычное сердцебиение — их знал Господь! Мне оставалось лишь следовать за Ним, шаг за шагом,веряя Ему через молитву принятие решения. Я знала, что я далеко не умна, не мудра и даже не хитра, но раз уж нашему дому суждено было стать пристанищем для гонимых, значит, так было угодно Провидению.

Спустя несколько дней, уже после комендантского часа, раздался звонок у боковой двери. Я поспешила открыть, ожидая встречи с очередным беженцем. Но каково было мое удивление, когда я увидела там Кика!

— Надень свитер и возьми велосипед, — распорядился он решительно. — Тебя хотят видеть.

— Сейчас? — удивилась я, хотя знала, что задавать вопросы бессмысленно.

Ободья велосипеда Кика были обернуты тряпками. Я сделала то же самое, и вскоре мы уже тряслись по темным улочкам Харлема.

— Положи руку мне на плечо, — сказал Кик. — Я знаю дорогу.

Мы миновали узкие переулки, переехали через несколько мостов и наконец очутились в фешенебельном пригородном районе Арденхаут. Проехав по аллее раскидистых деревьев, мы затормозили у крыльца особняка. Кик подхватил оба велосипеда и поднялся по ступенькам к дверям. Нам отворила их горничная в накрахмаленном переднике. Прихожая оказалась сплошь заставленной велосипедами.

И тут я увидела Пиквика! Одним глазом он улыбался мне, а вторым смотрел на дверь, живот его стал еще больше.

Пиквик ввел меня в гостиную. Там, разбившись на группы, непринужденно беседовала за чашечкой кофе самая изысканная публика. Все мое внимание сосредоточилось на тончайшем аромате натурального кофе. Пиквик предложил мне этот густейший, чернейший и крепчайший напиток, налил чашечку себе и положил в нее свои обычные пять кусков сахара, словно никаких карточек на продукты не было и в помине. Еще одна горничная в белоснежном переднике появилась с подносом пирожных.

Жуя на ходу пирожное и прихлебывая кофе, я пошла следом за Пиквиком знакомиться с гостями. Странное это было знакомство: не называлось никаких имен, разве что адрес и «спросите госпожу Смит». Когда я пожимала руку четвертому Смиту, Кик, усмехнувшись, заметил:

— У всех подпольщиков одна фамилия.

Выходит, я нахожусь в настоящем подполье! Но откуда все эти люди? Я никогда раньше не встречалась ни с кем из них! Холодок пробежал по моей спине: неужели меня представляют руководителям Национального Сопротивления?

Основной задачей Сопротивления, как я поняла из услышанного, было поддержание связи с Великобританией и войсками Свободной Голландии, сражавшимися где-то на континенте. Кроме того, штаб Сопротивления обеспечивал эвакуацию экипажей сбитых самолетов союзников на побережье Северного моря.

Все эти таинственные люди прониклись симпатией к моим скромным усилиям по спасению харлемских евреев. Я покраснела до корней волос, когда Пиквик назвал меня «руководителем операции». В моем представлении тайник под лестницей и спонтанные попытки как-то помочь людям не были никакой «операцией». Куда мне было до собравшихся в этом фешенебельном салоне профессионалов!

Тем не менее все они отнеслись ко мне радушно и доверительным полупшепотом предлагали свои услуги: фальшивые документы, машины с правительственными номерами, подделанные подписи.

В дальнем углу гостиной Пиквик представил меня болезненному на вид человеку с козлиной бородкой.

— Наш любезный хозяин уведомил меня, — проговорил тот, — что в вашей резиденции нет потайной комнаты. Это опасно как для вас самих, так и для ваших подопечных. Если позволите, я навещу вас на будущей неделе.

Много позже я узнала, что это был один из выдающихся архитекторов Европы. Но мне он был известен лишь как господин Смит...

Пожимая мне на прощанье руку, Пиквик прошептал:

— Моя дорогая Корри, у меня есть хорошие новости: Петера скоро освободят.

И тремя днями позже Петер действительно предстал перед нами, побледневший, осунувшийся, но не сломленный двухмесячным заключением. Нолли, Тина

и Бетси не пожалели месячную норму сахара на пирожные для торжественной встречи.

А вскоре после этого к нам пожаловал маленький человек с жиденькой бородкой. Услышав его фамилию, отец заинтересовался: ничто не занимало его больше, чем выяснение связи нового знакомства со старым.

— Смит! — с воодушевлением воскликнул он. — Знавал я нескольких Смитов в Амстердаме. Вы случайно не родственник ли...

— Папа! — не дала я ему договорить. — Этот человек пришел осмотреть наш дом...

— Так вы из муниципальной инспекции? — обрадовался отец. — В таком случае, вы из тех Смитов, у которых контора на Гроде Хаут-страат. Любопытно, почему я раньше...

— Папа! — взмолилась я. — Он не инспектор, и вообще не Смит!

— Не Смит? — вскинул брови отец.

Мы попытались было что-то ему растолковать, но отец никак не мог понять, почему человек называется чужим именем. Провожая гостя на вторую половину дома, я слышала краем уха, как отец продолжал бормотать себе под нос: «Знавал я одного Смита на Конинг-страат...»

Господин Смит одобрил тайник под лестницей, назвал «приемлемой» и треугольную сигнальную табличку с надписью «Альпийские часы», помещенную на подоконник в качестве знака, разрешающего вход. Но когда я показала ему тайник за буфетом, он покачал головой:

— Сюда они заглянут в первую очередь.

Он начал подниматься по лестнице и по мере восхождения все более веселел, пока, наконец, не воскликнул, остановившись на одной из площадок между этажами:

— Это невероятно! Это просто какая-то восхитительная, редкостная, невообразимая невероятность! Мисс тен Боом, если бы все дома в городе имели подобную конструкцию, вы бы видели перед собой менее обеспокоенного человека!

Войдя в мою комнату, он издал радостный вопль:

— Вот оно!

Заметив мое крайнее недоумение, Смит хмыкнул и с воодушевлением пояснил:

— Потайные ниши следует устраивать как можно выше, что позволяет спрятаться, пока ищут внизу. — Он высунулся в окно и повертел головой, оценивая подходы к дому.

— Но... — промямлила я, — это ведь моя спальня!

Господин Смит не обратил на мои слова ни малейшего внимания: он уже производил замеры. Затем он легко отодвинул от стены тяжеленный гардероб и поставил мою кровать на середину комнаты.

— Вот где мы построим фальшивую стену, — сказал он, проводя карандашом по полу черту.

— Уверен, за ней поместится и матрас! — изрек он, распрямляясь, и пытливо уставился на меня.

Я вновь пыталась протестовать, но господин Смит словно забыл о моем существовании.

В течение последующих дней он со своими мастерами то приходил, то уходил, причем без стука, каждый раз принося с собой завернутый в газету инструмент или кирпичи в портфеле.

— Дерево! — воскликнул он, когда я осмелилась поинтересоваться, не легче ли использовать его в качестве строительного материала. — Оно выдает пустоту. Нет-нет! Для ложных стен годится исключительно кирпич.

Когда стена была сложена, пришел штукатур, затем плотник, за ним маляр. Через шесть дней после нача-

ла строительства господин Смит пригласил нас полюбоваться результатом.

Мы поднялись наверх и замерли на пороге спальни: все пропиталось запахом свежей краски, но смотрелось совершенно как прежде. Все четыре стены имели тот же грязноватый угрюмый вид, типичный для всех старых помещений в отапливаемых углем жилищах харлемцев. Старинный лепной карниз выглядел вполне первозданно, с натуральными трещинами и щербинами, словно к нему не прикасались, по меньшей мере, полтора столетия, а водяные потеки были настолько правдоподобны, что даже мне, прожившей в этой комнате полвека, не верилось, что они только недавно выполнены рукой опытного конспиратора, чтобы замаскировать спасительное пространство между стенами. Столь же антикварными казались и книжные полки на фальшивой стене с такими же следами от воды. В нижнем левом углу под полками была встроена вынимающаяся панель в два фута высотой и два — шириной: это и был лаз в потайную комнату.

Архитектор наклонился и молча вытащил панель. Мы с Бетси вползли в убежище, — оно оказалось весьма вместительным, можно было стоять, сидеть и даже лежать поочередно на матрасе. Скрытая отдушина обеспечивала вентиляцию.

— Поставьте туда кувшин с водой, — втискиваясь следом за нами, сказал господин Смит, — и не забывайте ежедневно менять воду. Кроме того, необходим запас витаминов и галет. Все личные вещи ваших подопечных тоже следует хранить здесь.

Мы вернулись в спальню, и господин Смит ударил кулаком по фальшивой стене:

— Гестаповцы могут искать хоть целый год. Этот тайник им все равно не обнаружить. Но вы, — обернулся он ко мне, — непременно поселитесь здесь, все должно быть, как прежде.

## Глава 7

### Эйси

Петер был дома, но не чувствовал себя в полной безопасности, поскольку военные заводы в Германии остро нуждались в рабочей силе. Солдаты внезапно окружали квартал и прочесывали его, увозя на грузовиках всех лиц мужского пола от шестнадцати до тридцати лет. Таких облав страшно боялись.

Флип и Нолли переоборудовали свою кухню таким образом, чтобы в случае внезапного обыска сыновья могли быстро спрятаться: расширили лаз в картофельный погребок под полом, а крышку прикрыли большим половиком, поставив на него стол.

После капитальных работ, проведенных в нашем доме господином Смитом, мне стало ясно, что эти ухищрения не более чем самообман: солдаты заглянут в погребок в первую очередь. Осталось лишь уповать на удачу и неопытность солдат — ведь они не были специально обучены проведению обысков, длившихся к тому же не более получаса.

Нежданные гости нагрянули в этот тихий квартал в день рождения Флипа, по случаю которого отец и я с Бетси пришли к Нолли пораньше, захватив с собой четверть фунта настоящего английского чая от Пиквика.

Нолли, Анна-Лиза и две старшие девочки еще не вернулись из магазина: там давали мужские ботинки и Нолли поклялась стоять в очереди хоть весь день ради подарка мужу.

Мы болтали на кухне с Кокки и Катрин, когда туда вбежали Петер и его старший брат Боб.

— Скорее! Солдаты! Они идут сюда!

Первым в погреб, отодвинув стол и отшвырнув половик, спустился Боб. Он улегся плашмя, а сверху лег Петер. Мы закрыли лаз крышкой, положили на нее половик и вернули на место стол, трясущимися руками расстелив скатерть и поставив блюда и чашки.

Входная дверь с треском распахнулась — Кокки с перепугу выронила чашку, и она разбилась.

На лестнице загрохотали сапоги, двое солдат с винтовками наперевес вбежали в кухню.

— Остаться на своих местах! Не двигаться!

Солдаты с явным неудовольствием оглядели помещение, в котором были только женщины, дети и старики. Если бы они повнимательнее присмотрелись к Катрин, то наверняка заметили бы на ее лице гримасу ужаса. Но солдатам было не до того.

— Где молодые мужчины? — спросил на ломаном голландском языке низкорослый солдат, грозно уставившись на Кокки.

— Это вот мои тети, — спокойно отвечала девочка. — А это мой дедушка, папа в школе, мама пошла в магазин, а...

— Я не спрашиваю о всем вашем племени, — вскричал солдат. — Где твои братья?

Кокки уставилась на него, не произнося ни слова. Мое сердце замерло. Я знала, как строго Нолли воспитывает детей. Но ведь один разок можно и солгать!

— У тебя есть братья?

— Да, — чуть слышно отвечала Кокки. — Трое.

— Сколько им лет?

— Двадцать один, девятнадцать и восемнадцать.

Наверху хлопали двери, скрипела отодвигаемая от стен мебель.

— Так где же сейчас твои братья?

— Старший в богословском колледже, он почти не ночует дома, потому что...

— А двое других?

— Как это где? Они под столом, — не задумываясь, выпалила Кокки.

Наведя на нас винтовку, солдат приказал всем встать и приподнял скатерть. Второй, долговязый, нагнулся и с винтовкой наизготовку заглянул под стол. И тут Кокки взорвалась истерическим хохотом. Солдат выпрямился, гневно сверкнув глазами.

— Не делай из нас дураков! — рявкнул низкорослый и в ярости выскочил из кухни.

Спустя минуту весь взвод покинул дом. Последним вышел молчаливый долговязый солдат, который обнаружил и положил в карман драгоценный пакетик с чаем.

Праздничный ужин в тот вечер прошел довольно странно. Нолли защищала Кокки, говорила, что девочка поступила правильно и сама она ответила бы точно так же.

— Всевышний вознаграждает праведников, Он защищает их!

Петер и Боб, однако, вовсе не были в этом уверены, — вряд ли крышку от погреба можно считать надежной защитой. Не была уверена в этом и я. У меня никогда не было такой храбрости, как у сестры, равно как и веры. Но я четко видела отсутствие логики в ее рассуждениях.

— А разве можно говорить правду, если необходимо что-то скрывать? Как насчет фальшивых документов Анны-Лизы? Одежды горничной на Катрин?

— Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих! — с торжествующим видом парировала Нолли. — Псалом 140!

— Пусть так. А как насчет радиоприемника? Разве мне не пришлось раскрыть «двери уст моих», чтобы сохранить его? — воскликнула я.

— Как бы там ни было, — сказал отец, ласково глядя на меня, — я уверен, что тобой двигала любовь, Корри.

Любовь... Как она проявляется? Как Господь мог показать истину и любовь одновременно в этом мире? Через смерть. В тот вечер ответ предстал передо мной особенно пронзительно и четко: вся история мира совершается под знаком Креста.

К началу 1943 года все труднее стало находить убежища для обращавшихся к нам евреев, даже тех, кто имел фальшивые документы и продуктовые карточки. Мы понимали, что рано или поздно придется прятать беженцев в своем доме и у надежных знакомых в городе, но не предполагали, что первым таким человеком окажется наш добрый друг Бульдог.

В середине дня, в самый разгар работы, в мастерскую вошла Бетси.

— Пришли Гарри и Като, — сказала она.

Мы были весьма удивлены: Гарри никогда не появлялся днем, боясь поставить нас в неловкое положение. Мы с отцом пошли следом за Бетси наверх.

Гарри де Врис поведал нам типичную историю того времени. Сперва к нему пришли из национал-социалистического союза и объявили его лавку конфискованной. То обстоятельство, что Гарри был христианином, во внимание не принималось, потому что, как выразился один квислинг из национал-социалистов, любой еврей может креститься, чтобы избежать осложнений. А на следующее утро появился немецкий офицер, который уже вполне официально объявил

магазин закрытым в интересах национальной безопасности.

— Но, — поднял вверх указательный палец несчастный Гарри, — если уж я представляю опасность для национальной безопасности, они не ограничатся закрытием моей лавки.

И в этом никто не сомневался. Но, как назло, в тот момент не было ни одного надежного убежища в городе. Правда, можно было рискнуть и обратиться к госпоже де Бур, жившей в четырех кварталах от нас. И в тот же вечер я постучалась в дверь ее дома.

Госпожа де Бур согласилась принять Гарри и Като.

Я отдала ей продуктовые карточки, а она показала мне комнатку на чердаке, на котором уже обитало 18 молодых евреев, весьма шумных.

— Эти молодые люди так долго находились в стесненных обстоятельствах, — с виноватым видом пояснила хозяйка, — что теперь они постоянно поют, смеются, танцуют и... — тут она замялась, покраснев, — вообще производят всяческий шум.

— Если вы полагаете, что еще одна пожилая еврейская пара переполнит чашу вашего терпения, — начала было я, налегая на слово «пожилая», но хозяйка уже махала руками:

— Нет, нет! Как же можно отказать несчастным людям? Приводите их сегодня же вечером. Мы потеснимся.

Итак, Гарри и Като поселились у госпожи де Бур, в одной из клетушек на чердаке. Бетси каждый день навещала их, носила свежий домашний хлеб, немного чая, кусочек колбасы. Ее очень беспокоила обстановка в этом доме.

— Они в опасности, — однажды сказала Бетси нам с отцом. — Молодые люди не знают меры. Сегодня я слышала возню даже на улице.

Но не только это усугубляло трудности пасмурной зимы. Снега выпало мало, но холода наступили раньше обычного и долго держались. С топливом же было трудно. В парках и вдоль каналов исчезали деревья. Сырые, холодные помещения пагубнее всего сказывались на очень молодых и слишком старых. Однажды утром не явился к чтению Библии Кристофель. Не пришел он и в мастерскую. Его домохозяйка обнаружила беднягу уже мертвым в постели, вода в ручьейнике превратилась в лед. Мы похоронили старого часовщика в его великолепном костюме и гарусном жилете, в том самом, в котором он щеголял на нашем столетнем юбилее шесть лет назад и вместе с тем — целую жизнь тому назад.

Весна наступала медленно. По случаю моего 51-го дня рождения мы устроили в комнатке де Врисов маленькое торжество. А спустя неделю, 22 апреля, к нам прибежала Като. Войдя в дом, она разрыдалась.

— Эти молодые люди окончательно спятили! Вчера вечером восемь человек вышли из дома. Естественно, их арестовали: юноши даже не потрудились сбрить пейсы. Гестапо без труда получило от них нужную информацию...

Из дальнейшего сбивчивого рассказа Като мы поняли, что в четыре часа утра нагрянули с обыском, ее отпустили, потому что она не была еврейкой, но всех остальных — в том числе Гарри и госпожу де Бур — арестовали.

— О Боже, что с ними будет? — убивалась Като.

Три дня она обивала порог полицейского управления, умоляя голландских и немецких офицеров разрешить ей свидание с мужем, ее прогоняли, но она переходила на другую сторону улицы и молча стояла на тротуаре до комендантского часа.

В пятницу, незадолго до обеда, в переполненном магазине появился полицейский. Это был Рольф ван Влит, тот самый, с огненно-рыжими волосами, который был в мастерской, когда Фред впервые принес продуктовые карточки. После некоторого колебания он прошел в мастерскую.

— Мои часы по-прежнему отстают, — сказал он, снимая с руки часы, и шепотом добавил: — Гарри де Вриса завтра увезут в Амстердам. Если желаете с ним увидеться, будьте ровно в три часа пополудни в управлении. Видите? — громко продолжал он. — Секундная стрелка застревает в верхней части циферблата...

В 15.00 мы с Като вошли в здание полицейского управления. За двойными дверями на вахте стоял Рольф собственной персоной.

— Следуйте за мной, — довольно грубо приказал он и повел нас по мрачному коридору с высоким потолком.

— Ждите здесь, — сказал он, остановившись у обитой железом двери.

Рольф постучал, кто-то невидимый посмотрел из-за двери в глазок и отпер ее. Рольф прошел, его не было несколько томительных минут, затем дверь распахнулась, и мы оказались лицом к лицу с Гарри. Рольф отступил в сторону, давая ему обнять Като, но шепотом предупредил:

— У вас всего несколько секунд.

Гарри и Като обреченно разжали объятия, не отрывая глаз друг от друга.

— Мне искренне жаль, — проговорил Рольф. — Но ему пора возвращаться в камеру.

Гарри поцеловал жену, потом пожал мне руку. На глаза его навернулись слезы.

— Куда бы они ни увезли меня, — с дрожью в голосе проговорил он, — я повсюду буду свидетельствовать о Христе.

Рольф взял Гарри за локоть.

— Мы будем молиться за вас, Гарри! — крикнула я, когда дверь за ним захлопнулась.

Но предчувствие подсказывало мне, что я больше никогда не увижу нашего доброго друга Бульдога...

Вечером того же дня мы провели совещание по поводу Рольфа: если уж он рискнул своим положением ради встречи Гарри и Като, не исключено, что он согласится и сотрудничать с нами.

— Господь Иисус! — воскликнула я. — Помоги нам всем избежать опасностей!

Я почувствовала уверенность в том, что выбор сделан правильно. Но как долго, подумалось мне, Провидение будет благосклонно к нам?

Я поручила одному из своих юных помощников проследить за Рольфом и узнать, где тот живет. Спустя неделю я пришла к нему домой.

— Вы даже не представляете, какую услугу вы нам оказали, — сказала я ему. — Как мы можем вас отблагодарить?

Рольф запустил пятерню в свою густую шевелюру.

— В общем-то есть такая возможность, — задумчиво проговорил он. — У нашей тюремной уборщицы есть сын. Он уже дважды попадал в облавы. Его мать мечтает о каком-нибудь временном пристанище для него...

— Может быть, я смогу помочь, — сказала я. — Как вы думаете, может, у нее найдутся часы, требующие починки?

На другой день, когда я беседовала в комнате тети Янс с двумя новыми добровольными помощниками, в дверях появилась Тос. Я все чаще перекладывала на ее плечи работу в магазине, потому что «подпольные операции» занимали у меня почти все время.

— Там внизу вас спрашивает какая-то странная женщина, — сказала Тос. — Она говорит, что ее зовут Митье и прислал ее Рольф.

Я попросила Тос провести посетительницу в мастерскую. Рука, которую я пожалала, была грубой и шершавой, как наждачная бумага, из подбородка торчал клочок волос.

— Насколько мне известно, — сказала я, — у вас есть сын, которого вы очень любите.

— О да! — при упоминании о сыне лицо женщины просияло радостной улыбкой. Я повертела в руках громоздкий старый будильник, который она принесла.

— Приходите за вашими часами завтра после обеда, я надеюсь, что у меня для вас будут хорошие новости.

Вечером мы слушали сообщения наших связных. Затяжная суровая зима лишила нас нескольких убежищ, а хозяин фермы в окрестностях Харлема требовал за риск дополнительной платы серебром и еще одну продуктовую карточку. Эта задача была довольно трудной, но, к счастью, мы в конце концов изыскали средства и заплатили. Вообще же подобное случалось редко.

Когда на следующий день Митье пришла в мастерскую, я достала мелкую купюру из кошелька, оторвала у нее уголок и протянула его женщине.

— Отдайте это своему сыну. Сегодня вечером он должен быть в Гравенстененбруге. Сразу же за мостом он увидит дерево, пусть встанет возле него лицом к каналу. К нему подойдет человек и спросит, не сможет ли ваш сын разменять купюру. В ответ ваш сын должен предъявить угол банкноты и, не задавая лишних вопросов, следовать за человеком.

Бетси вошла, когда мы с Митье уже прощались.

— Я отблагодарю вас, — говорила женщина, пожимая шершавыми ладонями мне руку. — Я непременно когда-нибудь найду способ отблагодарить вас!

Мы с сестрой обменялись улыбками: чем эта простодушная женщина могла помочь нам?

Забот все прибавлялось, но для каждой новой проблемы находилось решение. Например, с помощью Пиквика мы познакомились с человеком, работавшим на телефонной станции, и вскоре заработал наш аппарат. Это был великий день! Три года мы не слышали телефонной трели в своем доме, а как необходима нам была постоянная связь! Ведь в «Божьем подполье», как мы в шутку окрестили нашу организацию, работали уже восемьдесят человек — мужчин, женщин, подростков, и большинство из них не были между собой знакомы. Однако все они знали наш дом: он являлся штабом, центром разветвленной конспиративной сети, узлом, в котором сплетались все нити.

Правда, телефон был не только благом, но и дополнительным источником риска, как, впрочем, и любая новая явка или новый помощник. Мы пригласили звонок, насколько это было возможно.

Не могло не вызывать подозрения и количество посетителей, явно не соразмерное с маленькой мастерской, хотя спрос на часы и наши услуги был в тот период велик. Перенос на семь часов вечера комендантского часа усугубил наши трудности.

Вот обо всем этом я думала вечером первого июня 1943 года, сидя за своим верстаком в ожидании шестерых наших связных. До семи часов оставалось не так уж много времени, а мне предстояло сделать уйму важных дел. Во-первых, Фред Корнстра должен был принести новые карточки. Ста карточек, которые год назад казались мне чем-то немислимым, уже было мало, и помимо Фреда мы обзавелись несколькими другими источниками. Но как долго все это будет продолжаться?

Мои размышления прервал звонок у бокового входа. Мы с Бетси прибежали к двери одновременно. В переулке стояла молоденькая еврейка с укутанным в одеяло младенцем на руках, из-за ее плеча смущенно выглядывал врач из родильного дома.

Врач рассказал мне, что ребенок появился на свет раньше срока, и поэтому была возможность продержать его с матерью в больнице дольше положенного времени. Но теперь пришлось их выписать, а идти женщине некуда.

Бетси протянула руки, чтобы взять ребенка, и в тот же момент в магазин через парадный вход вошел Фред Корнстра. Врач, увидев человека в униформе, побледнел. Меня так и подмывало успокоить их обоих, но я помнила о том, что чем меньше участников группы будет знать друг о друге, тем лучше для всех. Врач торопливо распрощался, и мы с Бетси увели мать с младенцем в столовую.

Бетси налила госте миску костного бульона, та стала жадно есть, а ребенок зашелся надрывным плачем. Я принялась его успокаивать, размышляя, как быть с новой опасностью. В нашем доме уже было несколько еврейских детей, но даже у самых маленьких проявился инстинкт молчания — характерная особенность затравленных существ. Этому малышу еще предстояло познакомиться с враждебностью окружающего мира, нам же — подыскать для него убежище где-нибудь на отшибе.

И уже на следующее утро появилась надежда решить эту проблему — в образе знакомого пастора из предместья Харлема, чей дом располагался в обширном парке. Он протянул мне свои часы, я осмотрела их: требовались дефицитные запасные части. Но для такого клиента мы готовы были постараться.

— А теперь, пастор, я хочу кое в чем покаяться, — сказала я.

Глаза гостя потемнели, он с тревогой переспросил:

— Покаяться?

Я провела его в столовую и предложила сесть.

— Я каюсь в том, что тоже хочу просить вас об одолжении.

Пастор нахмурился.

— Не согласились бы вы взять в свой дом одну молодую женщину с ребенком? Им грозит арест.

Пастор побледнел и порывисто встал со стула.

— Мисс тен Боом! — воскликнул он. — Смеею надеяться, что вы не замешаны в укрывательстве и подпольной деятельности. Подумайте о своем отце! И о своей сестре — она никогда не отличалась крепким здоровьем.

— Не уходите! — бросила я пастору и побежала наверх, в комнату Виллема, где Бетси разместила наших новых подопечных. Взяв у оторопевшей матери младенца, я вернулась с ним в столовую и откинула край одеяльца. Наступила напряженная тишина.

Пастор склонился, вглядываясь в личико ребенка, рука его непроизвольно потянулась к крохотному кулачку, вцепившемуся в одеяльце. Какое-то мгновение противоречивые чувства боролись в нем, затем пастор выпрямился.

— Нет. Категорически — нет! Мы не можем рисковать жизнью из-за этого еврейского младенца.

— Дай мне ребенка, — сказал отец, неслышно вошедший в комнату.

Он прижал к груди малыша, его белая борода коснулась личика, а голубые, почти детские глаза отца внимательно смотрели в черные глазки-пуговицы. Наконец он перевел взгляд на пастора.

— Вы говорите, что мы рискуем жизнью из-за этого младенца. Я счел бы за величайшую честь умереть за него.

Пастор резко повернулся и вышел из комнаты.

Нам ничего не оставалось, как отправить мать и ребенка на овощную ферму на окраине города. Там уже однажды побывало гестапо, но выбора у нас не было, и после обеда двое наших помощников отвели туда женщину.

Спустя несколько недель мы узнали, что она выдала себя, закричав от страха во время неожиданного обыска. Что стало с ней, ребенком и владельцем фермы, мы так никогда и не узнали...

Хотя на коммутаторе работали наши друзья, уверенности в том, что телефон не прослушивается, не было. Поэтому мы разработали особую систему кодирования, основанную на профессиональных терминах. Разговоры звучали теперь примерно так:

— Я никак не могу подобрать пружину к дамским часам. Вы не знаете, где можно ее достать?

Это означало: у нас еврейка, нуждающаяся в убежище, помогите его найти.

— Тут у одних мужских часов поврежден циферблат — задерживается стрелка. Вы не знаете, кто мог бы выполнить такой ремонт?

Посвященный понимал, что у нас в доме еврей с ярко выраженной семитской внешностью, и требовалось найти человека, который бы согласился принять его.

— Извините, но ваши детские часики уже нельзя отремонтировать. У вас сохранилась квитанция?

Такую фразу следовало понимать так: умер еврейский ребенок, необходимо разрешение на погребение.

Однажды утром, в середине июня, поступило такое телефонное сообщение:

— У нас возникли трудности с ремонтом мужских часов. Мы нигде не можем найти мастера, который

взялся бы починить их. Дело в том, что, во-первых, циферблат слишком старомодного образца, а во-вторых...

Короче говоря, речь шла о еврее, чье лицо выдавало его расовую принадлежность. Спрятать такого человека было очень трудно, и я ответила:

— Пришлите часы нам, мы сами попытаемся что-нибудь сделать.

Ровно в семь вечера у бокового входа раздался звонок.

Я взглянула в зеркало за окном столовой и тотчас же поняла, кто к нам пожаловал: фигура, одежда, черты лица и даже осанка гостя были типичными для персонажа из еврейской оперетты. Я побежала к двери.

— Добро пожаловать!

Улыбающийся мужчина лет тридцати с оттопыренными ушами, лысеющей головой и в очках с маленькими круглыми стеклышками без оправы отвесил мне изысканный поклон, чем окончательно очаровал меня.

Не успела я затворить дверь, как он извлек из кармана сюртука трубку и многозначительно посмотрел на меня.

— Первое, о чем я обязан спросить, — сказал он, — это могу ли я взять свою любимую трубку с собой. Мейер Моссель не так-то легко расстается со старыми друзьями, но ради вас, любезная леди, и дабы не осквернить табачным дымом ваши портьеры, я готов на такую жертву.

Я рассмеялась. Он был первым из всех евреев, весело переступившим порог этого дома и побеспокоившимся о нашем комфорте.

— Конечно же, вы можете оставить вашу трубку, — сказала я. — Ведь теперь такое трудное время!

— О да, сейчас такое время! — выразительно развел руками Мейер Моссель. — А что еще вы хотите, когда варвары опустошили страну?

Я провела его в столовую. За столом сидело семеро: трое наших помощников, супружеская пара, скрывающаяся у нас, отец и Бетси. Гость пристально уставился на отца.

— Однако позвольте, — театрально вскинул он брови, — я вижу одного из патриархов!

Именно эти слова и следовало сказать. Отец улыбнулся и парировал с тем же добрым юмором:

— А мне кажется, что передо мной брат из избранного народа!

— Вы помните наизусть псалом сто... — с характерной еврейской интонацией спросил Мейер Моссель и добавил: — шестьдесят шесть?

Отец просиял: Псалтирь заканчивается псалмом 150, и никакого псалма 166 нет и в помине. Это, вероятно, розыгрыш, а он обожал такого рода шутки.

— Псалом 166? — переспросил он на всякий случай.

— Если не возражаете, я продекламирую его, — поклонился гость.

Отец благосклонно кивнул, и Мейер начал нараспев читать стихи.

— Но ведь это сотый! — прервал его отец и густо покраснел.

Как же он мог так опростоволоситься?! Ну конечно же! Оба эти псалма начинаются одними и теми же словами: и псалом сто, и псалом шестьдесят шесть<sup>4</sup>.

Весь остаток вечера я слышала, как он бормотал себе под нос:

— Псалом сто и шестьдесят шесть...

В 20.45 отец взял с полки Библию, раскрыл книгу пророка Иеремии, но вдруг передумал и протянул ее через стол гостю со словами:

— Сделайте милость, почитайте сегодня вы для нас!

Бережно приняв книгу, Мейер встал, извлек из кармана ермолку и, надев ее, начал глубоким звучным

голосом вторить древнему пророку, да так проникновенно, что нам показалось: сам изгнанник стенает перед нами.

Как поведал нам позднее Мейер Моссель, он был кантором в амстердамской синагоге. Ему пришлось претерпеть: почти всех родственников арестовали, жена и дети чудом успели спрятаться где-то на ферме, на севере страны, а самого его хозяин укрывать отказался — «по объективным причинам», как пояснил неунывающий кантор, сделав при этом смешную гримасу. Он имел веселый и беззаботный характер. Мы решили, что он останется у нас в доме — не идеальном, конечно, убежище, но о каком идеальном убежище для Мейера Мосселя вообще могла идти речь?!

— По крайней мере, — сказала я однажды вечером, когда мы — Бетси, Кик и несколько его молодых друзей — сидели после наступления комендантского часа в комнате тети Янс, — вам нужно сменить имя. Как, например, вам нравится имя Эйсебиус?

Это имя врезалось мне в память еще во времена, когда Виллем изучал историю церкви. Мейер Моссель откинулся на спинку стула и глубокомысленно уставился в потолок, выпуская кольца дыма. Наконец он вынул изо рта свою трубку и со вкусом проговорил:

— Эйсебиус Моссель! Нет, лучше Эйсебиус Гентель Моссель!

Мы все расхохотались. Первой взяла себя в руки Бетси:

— Так не пойдет, — серьезно сказала она. — Необходимо сменить не только имя, но и фамилию тоже.

— А как насчет Смита? — с заговорщицким видом предложил Кик. — Весьма распространенная с некоторых пор фамилия...

Так Мейер Моссель стал Эйсебиусом Смитом, а потом и просто Эйси Смитом. Однако если склонить его

к перемене имени и фамилии оказалось делом довольно легким, то заставить есть запрещенную пищу было далеко не просто. А между тем шел уже третий год оккупации, приходилось часами выстаивать за продуктами в очередях, и мы были рады всему, что удавалось достать.

В один прекрасный день было объявлено, что по талону номер четыре можно будет купить свиную колбасу — впервые за многие недели. Бетси приготовила замечательное кушанье, бережливо отложив кусочки сала впрок.

— Эйси, — сказала она, ставя на стол дымящуюся кастрюлю с колбасой и картофелем. — Заветный день наступил!

Эйси выколотил из трубки пепел и напыщенно выразил свои сомнения. Ему, старшему сыну старшего сына уважаемого семейства, ему, Мейеру Мосселю, кажется, предложили отведать свинины? Уж не послышалось ли ему это?

Бетси положила ему на тарелку колбасы с картофелем и пожелала приятного аппетита.

Эйси облизнулся.

— Несомненно, — произнес он, — в Талмуде оговаривается подобная ситуация!

Он пронзил колбасу вилкой, жадно откусил кусок и, закатив от удовольствия глаза, поклялся отыскать в книге это место сразу же после обеда.

Вскоре у нас появились еще трое домочадцев. Первым из них был наш новый подмастерье Йоп, уже дважды чудом избежавший принудительной мобилизации на трудовой фронт, после чего его родители упростили нас разрешить юноше жить в нашем доме.

Вторым был Хенк, молодой адвокат, и третьим — Лендерт, школьный учитель. Последний внес исключительно важный вклад в тайную жизнь нашего со-

общества, оснастив дом электрической системой предупреждения.

К тому времени я уже настолько поднаторела в вояжах к Пиквику, что ничуть не уступала Кику. Однажды, угощая меня кофе, мой друг прочитал мне нотацию.

— Корнелия! — сказал он, втискиваясь в узковатое для него кресло. — Насколько я понимаю, у вас нет сигнальной системы. Это чрезвычайно неосмотрительно! Я хорошо знаю Лендерта, он прекрасный электрик. Я поговорю с ним. Кроме того, мне кажется, что вы не проводите с вашими подопечными тренировочных эвакуаций...

Меня всегда поражало, насколько хорошо Пиквик осведомлен обо всем, что происходит в нашем доме.

— Обыск могут произвести в любой момент, — продолжал Пиквик. — И я не представляю, как вы надеетесь выкрутиться. Уйма народа уходит и приходит на глазах у агентов гестапо, живущих через улицу. Грош цена вашей потайной комнате, если люди не смогут в ней быстро спрятаться. Мало поставить в каждой комнате сигнальную кнопку, надо немедленно приступить к тренировкам. Я пришлю вам опытного инструктора...

Мы приступили к тренировкам: четверо необученных членов нашего общежития бегали вверх по лестнице дважды в день — по утрам, пряча в тайник постельное белье и предметы туалета, и по вечерам, складывая в простенок дневную одежду. Подпольщики, остававшиеся ночевать, тоже хранили там свои шляпы и плащи. Все вместе они выглядели весьма потешно, толкаясь в моей спальне, ставшей корочей на добрый ярд. Последним был Эйси — в длинной ночной рубашке и колпаке он являлся, словно привидение, чтобы засунуть в нишу свою одежду.

Целью всех этих тренировок было научить людей быстро прятаться в любое время дня и ночи по первому же сигналу тревоги. И вот однажды утром к нам пожаловал долговязый и бледный юноша, назвавшийся инструктором от Пиквика.

— Смит! — ошалело воскликнул отец, когда юноша представился ему. — Это воистину поразительно: что ни день, так в нашем доме новый Смит! Должен заметить, что вы весьма напоминаете мне...

Новый отпрыск знаменитой фамилии тактично уклонился от генеалогических исследований и пошел за мной наверх.

— Время приема пищи, — многозначительно произнес он, — это излюбленное время для налетов. Равно как и глубокая ночь.

Он осмотрел все комнаты, повсюду обнаружив свидетельства постороннего присутствия.

— Особо следите за мусорными корзинами и пепельницами! — строго напомнил юноша, останавливаясь на пороге спальни.

— Если обыск случится ночью, надо непременно захватить с собой простыни и одеяла. Кроме того, надо перевернуть матрасы: сотрудники службы безопасности любят ощупывать постели.

Смит согласился отобедать с нами. За столом в тот день собралось одиннадцать человек, включая прибывшую накануне вечером еврейскую даму и женщину с дочкой — наших помощниц. Бетси разложила по тарелкам тушеное мясо, и все уже сели за стол, когда, никого не предупредив, господин Смит откинулся на спинку стула и нажал сигнальную кнопку под подоконником. Раздался звук зуммера. Люди вскочили с мест, хватая свои стаканы и тарелки, и ринулись к лестнице. Наш несчастный кот от ужаса прыгнул на портьеру и повис, затравленно озираясь. Тем временем с

лестницы доносились сдавленные возгласы: «Быстрее! Да тише вы! Осторожней!», а мы втроем лихорадочно убрали со стола все лишнее.

— Оставьте мой прибор! — сказал инструктор. — Почему бы у вас и не быть гостю к обеду?

Наконец мы вновь заняли свои места, и наверху воцарилась тишина. Операция по срочной эвакуации заняла четыре минуты. Был объявлен отбой, и господин Смит разложил перед собой обнаруженные им улики: две чайные ложечки и кусочек моркови, найденные на лестнице, пепел из трубки на якобы незанятой кровати. Эйси, почувствовав на себе укоризненные взгляды, потупился и покраснел.

— Но это еще не все, — инструктор указал на шляпки нашей помощницы и ее дочки, висевшие на крючках. — Прежде чем прятаться, остановитесь и подумайте, с чем вы пришли. И, кроме всего сказанного, все вы действовали непростительно медленно.

На следующий день я вновь объявила тревогу. На полную эвакуацию ушло на 1 минуту и 33 секунды меньше. К пятой тренировке мы уже укладывались в 2 минуты, а потом научились прятаться за 70 секунд. Но столь желанной для Пиквика одной минуты достичь так и не удалось.

Мы также отрабатывали действия на случай, если гестапо пожалует через парадный вход. Бетси решила не ограничиваться этим и репетировала схожий вариант с боковым входом. Все это делалось ради выигрыша драгоценных секунд.

Чтобы как-то ослабить напряжение от тренировок, сопровождавшихся призраком страха, мы старались придать им характер игры, внести дух соревнования. Я копила талоны на сахар и муку и покупала на них слоеные пирожные с кремом: лучшую награду победителям. Спрос на пирожные постоянно воз-

растал — пропорционально увеличению числа наших домочадцев. В последнее время к ним прибавились три женщины: Теа Дакоста, Мета Монсанто и Мэри Италли.

С Мэри Италли, семидесяти шести лет, была связана серьезная проблема: стоило ей только переступить порог нашего дома, как я слышала астматическую одышку — именно из-за нее предыдущие хозяева не соглашались оставлять ее у себя.

Поскольку ее болезнь ставила под угрозу безопасность остальных, мы вынесли этот вопрос на общий совет, пригласив Мэри.

— Нет смысла темнить, — откровенно сказала я. — У Мэри есть проблема, которая может всех нас подвести.

В наступившей тишине затрудненное дыхание Мэри казалось особенно громким.

— Могу я сказать? — спросил Эйси.

— Конечно.

— Мне кажется, что все мы здесь именно потому, что у каждого из нас есть проблема. Мы изгои, любой из нас подвергает опасности остальных. Поэтому я за то, чтобы Мэри осталась.

— Хорошо, — сказал адвокат Хенк. — Поставим этот вопрос на голосование.

Руки начали подниматься, но Мэри порывалась что-то сказать.

— Тайное голосование, — наконец произнесла она. — Никто не должен чувствовать себя неловко.

Хенк принес лист бумаги из соседней комнаты и разорвал его на девять полос.

— И вы тоже, — протянул он бумагу и карандаши папе и нам с Бетси. — Напишите только «нет» или «да».

На всех девяти листочках, когда их развернули, оказалось одно слово — «да».

Итак, все шестеро стали постоянными членами нашего счастливого семейства. Счастливым оно было во многом благодаря усилиям Бетси. Под ее руководством мы начали устраивать домашние концерты: Лендерт играл на скрипке, Теа — на пианино, Эйси читал лекции о религии и учил ивриту, а Мета давала нам уроки итальянского. Правда, наши вечерние развлечения зависели от подачи электроэнергии; свечи берегли на крайний случай, но вскоре мы нашли выход: как только лампочка начинала мигать и тускнеть, мы перебирались в столовую, где стоял на подставке велосипед, и по очереди крутили педали, приводя в действие динамо, в то время как кто-нибудь читал вслух книгу при свете фары.

В 21.15 отец уходил спать, но остальные не расходились, не желая нарушать сложившуюся традицию.

— Неплохо бы устроить тренировку! — вздыхал мечтательно Эйси, укладывая вещи в тайник. — Давненько не ел я слоеных пирожных...

## *Грозовые тучи сгущаются*

Если вечера проходили спокойно, то в дневное время нарастало предчувствие неминуемой беды. Полтора года умудрялись мы вести двойную жизнь: внешне оставаясь семейством престарелого часовщика, на самом деле наш дом давно превратился в подпольный центр, нити от которого тянулись к самым отдаленным уголкам Голландии. К нам ежедневно поступало множество запросов и сообщений, приходили десятки сотрудников. Рано или поздно мы могли допустить ошибку.

Особенно волновалась я в часы приема пищи. Людей за столом бывало так много, что стулья приходилось ставить вплотную. Это очень нравилось нашему коту Махер Шалал Хашбазу — так прозвал его Эйси, что в переводе с древнееврейского означает «устремляющийся к добыче». Теперь кот получил возможность обходить по нашим плечам круг за кругом весь стол, урча и мурлыкая от неопишуемого восторга.

В отличие от него, меня такое количество постояльцев очень беспокоило. Столовая располагалась всего в пяти ступенях от уровня улицы, и высокорослый прохожий легко мог заглянуть в окно. Мы повесили белые занавески, но при включенном свете они превра-

щались в ширму театра теней. И лишь когда опускались светозащитные шторы, я успокаивалась.

Однажды во время обеда я взглянула в окно и увидела неподвижно стоящую женщину. Спустя минуту я вновь посмотрела сквозь тонкую занавеску: женщина была еще там. Я встала и слегка отодвинула угол занавески. В нескольких шагах от окна стояла необычайно взволнованная Катрин из дома Нолли. Я бегом спустилась и втащила ее в прихожую. Несмотря на то, что был жаркий августовский день, руки Катрин были холодными как лед.

— Что ты здесь делаешь, Катрин?

— Она сошла с ума! — всхлипнула старушка. — Твоя сестра сошла с ума!

— Нолли? Боже мой, да что случилось?

— Они пришли, из службы безопасности, не знаю, что им было известно или кто им донес, но только твоя сестра и Анна-Лиза сидели в общей комнате... — Вновь слышались всхлипы. — Я все слышала! — Катрин разрыдалась.

— Да что слышала? Что именно, Катрин?

— Все, что Нолли им сказала. Они указали на Анну-Лизу и спросили: «Она еврейка?» Твоя сестра ответила: «Да!»

У меня подкосились ноги. Анна-Лиза — прекрасная молодая блондинка с безупречными фальшивыми документами. Ведь она доверилась нам! О Нолли, Нолли! Что же ты натворила! Вот к чему привело твое непреклонное правдолюбие.

— И что же было потом?

— Я не знаю. Я выбежала через черный ход. Она сошла с ума!

Оставив Катрин в столовой, я поехала на велосипеде к Нолли. Сегодня небо над Вагенвег не казалось мне необъятным. На углу Бос ен Ховен-страат я при-

тормозила возле фонарного столба и перевела дух. Потом как можно спокойнее направилась в сторону дома Нолли. За исключением автомобиля, стоявшего на обочине, ничего подозрительного я не заметила. Ни звука не доносилось из-за накрахмаленных занавесок, ничто не отличало этот дом от ему подобных по обеим сторонам тихой улочки.

На углу я обернулась, и как раз в этот момент дверь распахнулась и вышла Нолли, за ней — мужчина в обычном коричневом костюме. Спустя еще мгновение второй мужчина в штатском вывел под руку Анну-Лизу. Лицо ее было белее мела, она спотыкалась и дважды, пока дошла до машины, чуть было не упала. Наконец дверцы автомобиля захлопнулись, взревел мотор, и улица опустела.

Я поехала домой, глотая слезы. Нолли, как вскоре нам сообщили, доставили в полицейское управление и поместили в следственный изолятор. Анну-Лизу отвезли в старый еврейский театр в Амстердаме. Оттуда арестованных отправляли в концентрационные лагеря Германии и Польши.

Тут-то и пришла к нам на помощь Митье. Она рассказала, что Нолли пребывает в спокойном расположении духа и даже поет гимны и песни своим красивым сопрано. Я была очень удивлена этим.

Митье относил Нолли свежий хлеб, одежду, а однажды передала лично мне слова Нолли: «С Анной-Лизой ничего дурного не случится. Господь не допустит, чтобы ее увезли в Германию. Он не допустит, чтобы она страдала из-за того, что я выполняла Его заповеди».

Через шесть дней после их ареста зазвонил телефон. Я услышала голос Пиквика:

— Дорогая, могу ли я попросить тебя принести мне мои часы?

Это означало, что Пиквик желает поговорить со мной с глазу на глаз. Прихватив на всякий случай мужские часы, я отправилась к нему.

Пиквик провел меня в гостиную и плотно закрыл дверь.

— На еврейский театр в Амстердаме прошлой ночью совершен налет, — понизив голос, сказал он. — Убежали сорок человек. Одна из них, молодая женщина, очень просила передать Нолли: Анна-Лиза свободна. Тебе это что-нибудь говорит? — уставился он на меня одним глазом.

Я молча кивнула в ответ, слишком взволнованная, чтобы говорить. Но как Нолли могла предвидеть? Откуда у нее была такая уверенность?

Из харлемского изолятора Нолли вскоре перевели в федеральную тюрьму, в Амстердам. Пиквик сказал, что там у него знакомый врач, добрый человек, немец — он время от времени списывает заключенных «по состоянию здоровья». Я немедленно поехала на встречу с ним. Трясаясь в поезде, а потом ожидая в приемной, я думала только об одном — как мне снискать его расположение?

В приемной расхаживали по ковру громадные доberman-пинчеры, обнюхивая меня. Мне вспомнилась книга, которую мы читали вслух при свете велосипедной фары «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». В ней Дейл Карнеги советовал выяснять, какое у человека увлечение. «Хобби, — подумалось мне, — собаки...»

Наконец горничная пригласила меня в маленькую гостиную.

— Как мудро было с вашей стороны взять с собой этих чудесных собачек, — сказала я доктору по-немецки.

Он просиял:

— Вы тоже любите собак?

Я ответила, что просто обожаю собак, особенно буль-  
догов.

Примерно десять минут мы говорили о собаках. На-  
конец доктор неожиданно встал.

— Однако вы пришли не для того, чтобы поболтать  
о наших четвероногих друзьях, не правда ли? — при-  
стально взглянул он мне в глаза.

Я выдержала этот взгляд и спокойно сказала, что в  
амстердамской тюрьме содержится моя сестра и, как  
мне кажется, она не совсем здорова.

— Значит, вас совершенно не интересуют собаки, —  
улыбнулся доктор. — Как зовут вашу сестру?

— Нолли ван Вурден.

Доктор вышел из комнаты, но вскоре вернулся, дер-  
жа в руках коричневую записную книжку.

— Да, ее привезли совсем недавно. Расскажите мне  
о ней! За что ее арестовали?

Я рассказала доктору, что вся вина Нолли в том, что  
она укрывала еврейку, что она — мать шестерых детей,  
и теперь они станут обузой для государства.

— Хорошо, посмотрим, что можно для нее сделать, —  
задумчиво проговорил доктор. — Но сейчас прошу меня  
извинить...

Я возвращалась домой, окрыленная надеждой. Но  
проходили дни, недели, а новостей все не было. И тог-  
да я вновь отправилась в Амстердам.

— Я пришла проведать ваших доберманов, — сказа-  
ла я врачу.

Он поморщился:

— Не надо меня торопить. Я знаю, зачем вы приеха-  
ли. Дайте мне время.

Мне оставалось только ждать.

Однажды в ясный сентябрьский полдень, когда мы,  
семнадцать человек, собрались за обеденным столом,  
пришел один из наших помощников по имени Ниле.

Он сообщил, что Катрин благополучно добралась до фермы, расположенной к северу от Алкмара. Ниле говорил это обычным негромким голосом и так же спокойно вдруг добавил:

— Не оборачивайтесь! Кто-то заглядывает через занавеску.

За столом все замолчали.

— Он стоит на стремянке и моет окно, — уточнил Ниле.

— Но я не вызывала мойщика окон, — сказала Бетси.

— Кто бы это ни был, — заметил Ниле, — нам не следует сидеть с виноватым видом и молчать.

— С днем рождения! — вдруг запел Эйси. — С днем рождения, милый папа!

Все тотчас подхватили, и пока песня эхом разносилась по всему дому, я вышла на улицу и подошла к мойщику, стоявшему на стремянке с ведром и губкой.

— Что вы делаете? Мы не просили мыть нам окна, особенно во время семейного торжества.

Достав из кармана листок бумаги, мойщик взглянул на него и с удивлением спросил:

— Разве это не дом Кейперов?

— Они живут напротив, через дорогу. Но как бы то ни было, милости прошу к нашему столу!

— Нет-нет, я на работе, благодарю, — затряс головой мойщик.

Я проводила его взглядом до кондитерской Кейперов и вернулась в столовую.

— Ну как, сработало? — спросили меня.

— Думаешь, это был шпион?

Я не ответила. Я не знала.

Это было, пожалуй, самым тяжелым — не знать. И одним из самых непредсказуемых было мое собственное поведение на возможных будущих допросах.

Днем я чувствовала себя довольно уверенно. Но как я себя поведу, если гестапо нагрянет среди ночи?

И мы начали репетировать: Эйси, Хенк и Лендерт внезапно врываются ко мне, когда я спала, трясли меня и, еще полусонную, засыпали вопросами.

В первый раз я решила, что нагрянули с настоящим обыском. Раздался страшный грохот, яркий свет ударил мне в глаза, и кто-то невидимый из темноты закричал:

— Встать! Где ты прячешь своих девятерых евреев?

— Но у нас в доме только шестеро евреев, — пролепетала я.

Последовала гнетущая тишина. Включили свет, и я увидела перед собой схватившегося за голову Лендерта.

— О нет! О нет! — с вытаращенными глазами повторял он. — Это не может быть настолько плохо!

— Гестапо постарается взять тебя на пушку, — сказал стоявший за его спиной Хенк. — Ты должна отвечать: «Какие евреи? У нас нет никаких евреев!»

— Можно мне еще раз попробовать?

— Не сегодня. Ты уже проснулась.

Они провели тренировку несколько дней спустя.

— Откуда пришли евреи, которых вы скрываете?!

Я вскочила с постели и выпалила:

— Я не знаю. Они просто пришли к двери и позвонили.

Лендерт в отчаянии швырнул на пол шляпу.

— Нет, нет и еще раз нет! — закричал он. — Какие евреи? Нет никаких евреев! Разве трудно запомнить?!

— Я запомню, — сказала я. — Я исправлюсь.

И в другой раз повторилось то же самое. Когда с полдюжины неясных фигур ввалилось в мою спальню и требовательный голос спросил, где мы прячем продуктовые карточки для евреев, я спокойно ответила:

— В ходиках возле столовой.

Кик присел на край кровати и обнял меня за плечи.

— Это уже лучше, тетя Корри. Ты делаешь успехи. Но пойми, у вас вообще нет в доме евреев! Нет никаких лишних продуктовых карточек. И ты просто не понимаешь, о чем тебя спрашивают!

С каждой тренировкой я совершенствовалась. Но уверенности в том, что я поведу себя правильно, когда меня станут допрашивать настоящие гестаповцы, так и не появилось.

Подпольная работа часто вынуждала Виллема бывать в Харлеме. Печать отчаянной решимости и тревоги не сходила с его лица. В пансионате уже дважды побывали солдаты и, хотя он умудрился обмануть их в отношении большинства своих подопечных, одну большую слепую старуху все же увезли.

— Девяносто один год! — убивался Виллем. — Она уже не могла ходить, им пришлось нести ее до автомобиля!

Немцы не трогали его, не желая обострять отношения с членами общины, но следили за каждым его шагом. Виллем знал это и для прикрытия своих поездок в Харлем организовал у нас в доме еженедельные богослужения по средам. Однако он ничего не мог делать формально, особенно молиться, и вскоре эти собрания посещали десятки горожан, жаждущих на четвертом году оккупации какой-то духовной опоры. Большинство членов собрания и не подозревали о какой-либо незаконной деятельности в нашем доме, хотя подпольщики то и дело приходили и уходили. Конечно, мало знакомые люди являлись дополнительным фактором риска, но было и определенное преимущество в том, что к нам приходили ни в чем не замешанные люди, — во всяком случае, нам хотелось на это надеяться.

Однажды вечером, после наступления комендантского часа, когда мы, трое тен Боомов, семеро наших

домочадцев и двое временных постояльцев, ужинали, в дверь магазина позвонили.

Покупатель... после закрытия? На ходу доставая из кармана ключи, я спустилась вниз и через темный магазин подошла к парадному входу. Возле двери я замерла и прислушалась.

— Кто там?

— Вы меня не помните? — спросил по-немецки мужской голос.

— Кто это? — тоже по-немецки переспросила я.

— Ваш старый знакомый. Откройте же наконец!

Повозившись с замком, я открыла дверь. Передо мной стоял немецкий офицер. Прежде чем я успела дотянуться до кнопки зуммера, он оттеснил меня и вошел. Затем он снял фуражку, и в полумраке я узнала юного часовщика из Германии, который уехал от нас четыре года назад.

— Отто!

— Капитан Альтшуллер, — поправил он меня. — Времена изменились, не правда ли, госпожа тен Боом?

Я бросила взгляд на его знаки отличия: капитаном там и не пахло. Однако я промолчала. Отто огляделся вокруг.

— Все та же душная каморка! — Он потянулся к выключателю, но я прикрыла его ладонью:

— У нас нет плотных штор на витрине.

— Тогда давайте поднимемся наверх и поболтаем о старых временах. Этот чистильщик часов, он все еще здесь?

— Кристофель? Он умер прошлой зимой от холода.

— Тем лучше для него. А как поживает набожный читатель Библии?

Я подобралась к кнопке и нажала ее.

— Отец здоров, благодарю вас.

— Так вы не хотите пригласить меня наверх, чтобы я мог засвидетельствовать ему свое почтение?

Я лихорадочно соображала, почему этот негодяй так рвется наверх: просто из желания позлорадствовать или что-то заподозрил?

Тем временем незваный гость решительно направился в мастерскую.

— Подождите! — окликнула его я. — Сейчас запру дверь и поднимемся вместе. Мне хочется видеть, как быстро они узнают вас...

Я возилась с замком как можно дольше: было ясно, что Отто что-то подозревает. Наконец я провела его через коридор к лестнице и, проскользнув вперед, постучалась в дверь столовой:

— Папа! Бетси! А ну-ка угадайте, кто к нам пришел!

— Никаких гаданий! — Отто распахнул дверь.

Отец и Бетси подняли головы. Стол был накрыт на троих, стояла моя тарелка с недоеденным ужином. Все выглядело настолько естественно, что даже мне самой, только что видевшей здесь двенадцать человек, с трудом в это верилось.

Предупредительный рекламный треугольник стоял на подоконнике — они ничего не забыли!

Не дожидаясь приглашения, Отто сел за стол.

— Итак, — победоносно воскликнул он, — все идет именно так, как я и предсказал вам!

— Похоже на то, — неопределенно буркнул отец.

— Бетси, — сказала я, — угости капитана Альтшуллера чаем!

Отто отхлебнул из чашки и с удивлением спросил:

— Где вы достали настоящий чай? Ни у кого в Голландии нет чая!

Как неосмотрительно это было с моей стороны! Чай был от Пиквика.

— Ну если это уж столь важно для вас, — многозначительно потупившись, сказала я, — нам дал его один немецкий офицер. Но прошу — больше ни одного вопроса!

Отто просидел еще с четверть часа. Наконец, вполне насладившись победой, он убрался восвояси. Лишь спустя полчаса после его ухода мы дали сигнал отбоя тревоги девятерым скрючившимся в три погибели и насмерть перепуганным людям.

Однажды утром, в середине октября, в коридоре раздался телефонный звонок. Я сняла трубку.

— Ну, — произнес знакомый голос, — вы собираетесь за мной приехать?

Это была Нолли.

— Когда?! Как?! Где ты?!

— На вокзале в Амстердаме. Но мне нечем заплатить за проезд.

— Жди нас! Мы выезжаем!

Я помчалась на велосипеде на Бос ен Ховен-страт и вместе с Флипом и племянниками, которые, к счастью, оказались дома, мы поспешили на харлемский вокзал. Нолли мы заметили еще до того, как поезд замер у перрона: ее васильковый свитер выделялся на общем сером фоне, словно клочок весеннего неба среди туч. За семь недель заключения она осунулась, но по-прежнему излучала внутренний свет. Тюремный врач, рассказала нам Нолли, поставил ей диагноз: опасное для жизни пониженное давление, чреватое потерей дееспособности, вследствие чего государство будет вынуждено взять на свое попечение шестерых ее детей. При этом Нолли взглянула на своих «крошек», самому младшему из которых было восемнадцать...

Близилось Рождество 1943 года. Выпавший снежок был, пожалуй, единственным украшением той поры. В каждой семье кого-нибудь либо арестовали, либо

поместили в концентрационный лагерь, либо вынудили скрываться. Религиозная сторона праздника обрела для людей особое значение.

Нашему семейству предстояло отмечать не только Рождество, но и еврейскую Хануку — Праздник огней<sup>5</sup>. Бетси раскопала в груде сокровищ, спрятанных в нише за буфетом, старинный канделябр и поставила его на пианино. Каждый вечер мы зажигали на одну свечу больше и слушали, как Эйси читает историю Маккавеев. Потом мы пели заунывные песни изгнанников. В такие вечера все мы проникались еврейским духом.

Кажется, на пятый вечер этого празднества, когда мы самозабвенно пели, у бокового входа зазвонил колокольчик. Я отперла дверь и увидела соседку, госпожу Бекерс, жену оптика, стоящую без шляпы под снегом. В отличие от своего худосочного и нервного супруга, она была полной и невозмутимой. Но сегодня ее круглое лицо пылало от возбуждения.

— Не могли бы ваши евреи петь потише? — раздувая ноздри, воскликнула она. — Мы слышим их через стену, я уже не говорю о том, что на улице могут быть всякие люди...

Скольким же еще харлемцам известен наш «секрет», если соседи открыто просят нас быть поосторожнее? Очень скоро мы убедились, что об этом знает даже сам городской полицмейстер...

В одно мглистое январское утро, когда вновь повалил мокрый снег, в комнату тети Янс влетела перепуганная Тос. В руках ее был зажат конверт со штампом харлемского полицейского управления. Я вскрыла его: внутри лежал заполненный от руки бланк. Я прочитала сначала молча, затем вслух:

«Вам надлежит прибыть ко мне в кабинет сегодня в три часа пополудни», — писал мне полицмейстер.

Мы стали думать, что все это значит. Если полиция хотела бы арестовать меня, зачем тогда давать возможность скрыться? На всякий случай решено было подготовиться к обыску и аресту. Наши помощники немедленно покинули дом. Жильцы подготовились к мгновенному броску наверх, в убежище. А наш кот, почуяв тревогу, забился под буфет.

Затем я приняла ванну: кто знает, может быть, последнюю. Я решила учесть опыт Нолли и подготовила тюремный баул. В него я положила Библию, карандаш, бумагу, нитки с иглой, мыло, зубную щетку, гребень. Потом надела самую теплую одежду. Обнявшись с отцом и Бетси, я побрела по серой слякоти на Смедестраат.

Полицейский на вахте оказался старым знакомым. Прочитав бланк, он посмотрел на меня с любопытством.

— Следуйте за мной, — сказал он, и мы пошли по коридору. Возле двери с табличкой «Начальник управления» мой провожатый остановился и постучал.

— Рад вас видеть, госпожа тен Боом. Присаживайтесь.

Хозяин кабинета вышел из-за стола, поплотнее прикрыл дверь и почему-то не убавил, а прибавил громкость игравшего радио.

— Мне известно о вашей работе! — обернувшись, сказал он, многозначительно потирая ладони.

— Вы имеете в виду изготовление часов? — натянуто улыбнулась я. — В таком случае, вернее было бы сказать — о работе моего отца...

— Нет, — широко улыбнулся полицмейстер. — Я говорю о совсем другой работе!

— О, я поняла вас! Вы, вероятно, подразумеваете под этим словом попечительскую деятельность над сиротами... В таком случае позвольте заметить, что...

— Нет-нет, госпожа тен Боом, — прервал меня полицеймейстер. — Ваши сиротки меня не интересуют. Я хотел бы поговорить о совершенно иной вашей деятельности. Я хотел бы, чтобы вы знали, что кое-кто из нас вам сочувствует... Короче говоря, у меня к вам строго деловое предложение, точнее — просьба.

Шеф полиции присел на край стола и пристально посмотрел мне в глаза. Затем, понизив голос до шепота, он сказал, что сам сотрудничает с подпольем, но среди его подчиненных есть агент гестапо. Если его в ближайшее время не ликвидировать, погибнет много честных людей.

Ликвидировать? У меня по спине пробежал холодок.

— У нас нет альтернативы, — словно угадав мои мысли, продолжал полицеймейстер. — Упрятать его за решетку мы не можем: все места заключения контролируются немцами. Вот почему, госпожа тен Боом, я и подумал, что среди ваших людей, возможно, найдется кто-то, кто мог бы его...

— Убить? — тихо спросила я, подавшись вперед.

— Да, вы правильно меня поняли, — подтвердил полицеймейстер.

Я откинулась на спинку стула. Неужели это провокация?

— Господин полицеймейстер, — взяв себя в руки, твердо проговорила я, глядя ему прямо в глаза. — Я всегда считала своим предназначением спасать людям жизнь, а не лишать их ее. Я понимаю ваше сложное положение. Скажите, вы молитесь Богу?

— Кто же из нас не молится в такое время?

— В таком случае давайте вместе помолимся о том, чтобы Господь вразумил этого несчастного человека не предавать своих соотечественников.

Последовала долгая пауза. Наконец полицеймейстер, словно очнувшись, кивнул в знак согласия головой.

— Я с удовольствием сделаю это.

И вот в кабинете начальника харлемской полиции, под аккомпанемент последних известий о наступлении германской армии, мы стали молиться о том, чтобы Всевышний помог этому человеку по-новому взглянуть на себя и задуматься о ценности любого другого человека на земле.

Помолившись, полицмейстер встал и пожал мне руку:

— Благодарю вас, госпожа тен Боом. Я чрезвычайно признателен вам. Теперь я понимаю, что не должен был обращаться к вам с такого рода просьбой.

Все еще судорожно сжимая в руках свой баул, я миновала вестибюль, вышла из здания и направилась к дому. Там меня с нетерпением ждали. Но я ничего не рассказала. Я не хотела, чтобы отец и сестра знали, что нас просили убить человека: это было бы для них слишком тяжелым бременем.

Появление высокопоставленного покровителя должно было бы ободрить нас, но, как ни странно, эта новость возымела обратный результат: мы были удручены лишним подтверждением раскрытия нашей тайны. Похоже, что всему городу известно, чем мы занимаемся.

Нужно было остановиться. Но кто станет обеспечивать продуктами, информацией и жильем незащищенных людей? И мы решили продолжать действовать, невзирая на нависшую над нами опасность.

Беда не заставила себя долго ждать. Первым она настигла Йопа, нашего семнадцатилетнего подмастерья.

Как-то на исходе дня, в конце января 1944 года, в мастерскую вошел Рольф. Заметив Йопа, он вопросительно взглянул на меня. Я кивнула, давая ему понять, что это свой человек.

— Готовится налет на одну конспиративную квартиру в Эде, — потирая подбородок, проговорил Рольф. —

Вы не можете срочно послать туда кого-нибудь с предупреждением?

Как назло, под рукой не было ни одного связного.

— Я пойду, — сказал Йоп.

Я хотела было протестовать: ведь юноша совершенно неопытен в таких делах, да и по дороге мог попасть в облаву, но подумала о людях в Эде и согласилась.

— В таком случае поторапливайтесь, молодой человек, — сказал Рольф.

Снабдив Йопа инструкциями, он ушел. Мы решили, что будет лучше, если Йоп наденет женскую одежду. На прощание он, словно бы предчувствуя беду, обернулся и поцеловал меня.

Йоп не вернулся до наступления комендантского часа. У меня еще теплилась в глубине души надежда, что он придет утром. Когда же появился Рольф, я сразу все поняла по выражению его лица, но все-таки спросила:

— Что-то стряслось с Йопом?

— Да.

Рольф рассказал мне то, что узнал у знакомого сержанта. Когда Йоп, в длинном женском пальто, закутанный шарфом, добрался до конспиративной квартиры, дверь ему вместо хозяина открыл гестаповец.

— Мы обязаны смотреть правде в глаза, — со вздохом сказал Рольф. — Гестапо развяжет ему язык.

Мы вновь обсудили вопрос о прекращении нашей работы. И вновь пришли к заключению, что не можем этого себе позволить.

В ту ночь мы долго молились. Мы знали, что иного выхода, кроме как продолжать действовать, у нас нет. И кто знает, быть может, Господь приходит на помощь человеку лишь тогда, когда тот уже сделал все, что было в его силах...

## Глава 9

# Облава

Я с трудом открыла глаза, разбуженная посторонними звуками. Было утро 23 февраля 1944 года. Наши постояльцы прятали в тайник свои постельные принадлежности и забирали дневную одежду. Я вновь закрыла глаза. Вот уже два дня я лежала в постели с гриппом. Голова раскалывалась, суставы выкручивало и жгло, малейший шум — одышка Мэри, скрип секретной панели или ступени — причинял мне страдания. Уходите, все уходите! Оставьте меня в покое! Я закусила губу, чтобы не закричать.

Наконец они забрали свои пожитки и вышли, затворив дверь. А где же Лендерт? Почему он не поднялся? Потом я вспомнила, что Лендерт уехал устанавливать сигнализацию в другой конспиративной квартире, и забылась тяжелым сном...

На следующее утро меня разбудила Бетси. Она стояла перед кроватью с чашкой травяного чая.

— Там внизу какой-то человек из Эрмело хочет тебя видеть, — сказала она тревожным шепотом.

С огромным трудом я заставила себя встать, медленно оделась и начала спускаться по лестнице, держась за перила. Все кружилось у меня перед глазами. Голоса в комнате тети Янс привлекли мое внимание,

я заглянула. Боже, как я могла забыть! Ведь сегодня среда, люди пришли на собрание. Нолли разносила «оккупационный кофе», Петер сидел за пианино.

Наконец я добралась, едва дыша, до магазина, где меня ждал русоволосый человек с бегающими глазами.

— Госпожа тен Боом? — Он смотрел куда-то между моим носом и подбородком.

— Вы насчет часов? — спросила я, стараясь не выказывать нарастающую неприязнь к этому человеку.

— Нет, у меня к вам дело иного свойства, — сказал он, все так же избегая смотреть мне в глаза.

— Видите ли, мою жену только что арестовали: мы скрывали евреев. Если ее допросят, всем нам грозит опасность.

— Не совсем понимаю, чем я могу вам помочь, — уклончиво ответила я.

— В полицейском участке Эрмело есть один человек, который может посодействовать, но не бескорыстно, разумеется. У меня нет денег, но мне сказали, что у вас есть связи... Требуется шестьсот гульденов... Госпожа тен Боом, это вопрос жизни и смерти! Если я не дам взятку, жену увезут в Амстердам и тогда уже будет поздно...

Мне все больше не нравился этот человек. Но как могла я позволить себе считаться со своими эмоциями?

— Зайдите через полчаса, — сказала я.

Впервые посетитель взглянул мне в глаза:

— Я этого никогда не забуду, — сказал он.

Нужной суммы в доме не оказалось, и я послала Тос в банк, велев ей передать человеку из Эрмело деньги, но больше ничего ему не говорить. Затем я стала подниматься по лестнице. Если еще десять минут назад меня бросало в жар, то теперь трясло от озноба. По пути я зашла в комнату тети Янс, забрала портфель с документами и, извинившись перед братом и собрав-

шимися, пошла к себе в спальню. Там я разделась, залезла в постель, пытаюсь сосредоточиться на именах и адресах, хранившихся в портфеле: пять карточек нужно было отправить до конца месяца в Зандворт, еще восемнадцать в...

Буквы запрыгали у меня перед глазами, бумаги выпали из рук, и я впала в забытие...

Сквозь сон пробивался настойчивый зуммер. Почему он не умолкает? Послышался топот ног, сдавленный шепот: «Скорее! Скорее!» Я села, спустив ноги с кровати, и тупо уставилась на пробежавших мимо меня людей. Повернув голову, я успела увидеть исчезающие пятки Теа, за ней в лаз протиснулись Мета и Хенк. Но ведь на сегодня я не назначала тренировку. Значит, это не учебная тревога! Вот пролетел бледный как мел Эйси, с трубкой и пепельницей, и только тогда до меня дошло, что тревога настоящая. Исчезли его черные ботинки и красные носки. А где же Мэри? Старуха появилась в дверях с раскрытым ртом, жадно хватая воздух. Я вскочила и буквально затолкала ее в тайник. И тут в спальню вбежал какой-то щупленький седой мужчина. Я узнала его, это был один из руководителей Сопротивления, бывавший у Пиквика. Но как он оказался здесь? Он нырнул следом за Мэри. Не хватало только Лендерта. Ну наконец-то!

Ноги Лендерта исчезли, я с облегчением опустила панель и прыгнула в кровать. Внизу с треском распахнулась входная дверь, по лестнице загрохотали сапоги. Но другой звук заставил меня похолодеть: громкое тяжелое дыхание Мэри.

— Боже милостивый! — воскликнула я. — Излечи ее! Исцели Мэри прямо сейчас!

И в это мгновение взгляд мой упал на портфель, набитый адресами и именами. Я подхватила его, подняла панель, зашвырнула в тайник, опустила панель

на место и поставила перед ней тюремный баул, мой талисман. Едва я вновь легла, как дверь в спальню распахнулась.

— Ваше имя?

Медленно приподнявшись, я сонным, как мне казалось, голосом ответила:

— Корнелия тен Боом.

Передо мной стоял высокий грузный мужчина со странным неестественно белым лицом, одетый в обычный синий костюм.

— У нас тут, оказывается, еще одна клиентка, Виллемс, — обернувшись, крикнул он кому-то внизу. — Вставайте и одевайтесь!

Пока я вылезала из-под одеяла, мужчина достал из кармана листок бумаги и сверился с ним.

— Так это вы, значит, руководитель организации? — взглянул он на меня с любопытством. — Где вы прячете евреев? Отвечайте!

— Не понимаю, о чем вы говорите...

— Вы, верно, ничего не знаете и о вашей подпольной организации, — рассмеялся человек. — Ничего, мы во всем разберемся...

Я натянула прямо на пижаму верхнюю одежду, напряженно прислушиваясь к звукам из потайной комнаты.

— Ваши документы!

Я вытащила из кошелька удостоверение личности. Вместе с ним выпало несколько мелких купюр, мужчина молча нагнул, подобрал их и сунул к себе в карман. Так же молча изучив удостоверение, он вернул его мне и раздраженно бросил:

— Живей!

Я быстро застегнула кое-как пуговицы на кофте, всунула ноги в ботинки и потянулась было за баулом. Стоп! Баул стоял там, где я его в спешке остави-

ла — как раз перед секретной панелью. Если сейчас я возьму его, не привлечет ли это внимание пристально наблюдавшего за мной человека к самому заветному для меня месту на земле? Я сделала вид, что зашнуровываю ботинки, потом собрала всю свою волю в кулак и заставила себя выйти из комнаты без моего тюремного талисмана.

Ощущая дрожь в коленях, я стала спускаться по лестнице. Перед дверью в комнаты тети Янс стоял солдат. Интересно, подумалось мне, успели уйти Виллем, Нолли и Петер? И сколько вообще ни в чем не повинных людей попало в этот капкан?

Мой сопровождающий толкнул меня в спину, и я пошла дальше по лестнице. В столовой уже сидели вдоль стены отец, Бетси, Тос, а также трое наших помощников. На полу валялись осколки нашего сигнального треугольника: кто-то из гестаповцев догадался сбить табличку с подоконника.

Еще один гестаповец в штатском жадно копался в грудe вещей, вываленных на стол из тайника за буфетом. Архитектор был прав: они заглянули туда в первую очередь!

— Это еще одна из упомянутых в списке, — сказал мой конвоир. — Похоже, она тут за главного.

Гестаповец за столом, тот, которого звали Виллемсом, взглянул на меня и вновь вернулся к своему занятию.

— Вы сами знаете, что надо делать, Каптейн.

Каптейн грубо схватил меня за локоть и толкнул к лестнице. Внизу, в магазине, он швырнул меня в угол так, что я ударилась головой о стену, и заорал:

— Где евреи?

— Здесь нет никаких евреев!

Каптейн ударил меня по лицу.

— Где вы прячете продуктовые карточки?

— Я не понимаю, о чем вы...

Еще удар. Я стукнулась затылком об угол «астрономических часов», но Каптейн продолжал бить меня по лицу.

— Где евреи? Где потайная комната?

Я почувствовала во рту кровь. В голове и ушах звенело, я теряла сознание.

— Господи! — воскликнула я. — Защити меня!

— Если ты еще раз произнесешь это, я тебя убью!

Но рука Каптейна опустилась.

— Не говоришь ты, заговорит худая...

Каптейн пинками загнал меня в столовую и толкнул на один из стульев. Сверху доносились удары и треск досок: специально обученные солдаты искали потайную комнату. Внизу у бокового входа зазвонил колокольчик. Я взглянула на подоконник и обомлела: сигнальный треугольник стоял, аккуратно склеенный, на прежнем месте. Слишком поздно я сообразила, что за мной наблюдают.

— Так я и знал, — удовлетворенно воскликнул Виллемс. — Это сигнал, не правда ли?

Он побежал вниз к двери. Шум наверху прекратился. Я услышала, как дверь отворилась и приветливый мужской голос произнес:

— Входите, пожалуйста!

— Вы уже слышали? — раздался взволнованный женский голос. — Они взяли Германа!

Пиквика? Нет, только не его!

— Да? — отозвался голос Виллемса. — А кого еще?

Он избил доверчивую женщину до потери сознания, а затем бросил на стул рядом с отцом. Я сразу узнала в ней одну из связных и с ненавистью посмотрела на остатки валявшегося на полу треугольника: теперь наш дом превратился в западню! Сколько еще людей

попадется в нее до вечера? А Пиквик? Неужели его на самом деле арестовали?

Каптейн притащил в комнату Бетси. Ее губы распухли, на скуле темнел кровоподтек. Сестра рухнула на стул рядом со мной.

— О Бетси! Он избил тебя!

— Да! — Бетси вытирала кровь. — Мне так жаль его. Каптейн передернулся и еще сильнее побледнел.

— Арестованным запрещено разговаривать! — взвизгнул он.

Двое солдат внесли в столовую наш старый радиоприемник.

— И это законопослушные граждане? — все больше распалялся Каптейн. — А ты, старик! Я вижу, ты веришь в Библию! Ну-ка скажи, что в ней говорится о послушании властям?

— Бога бойтесь! — процитировал отец. — Бога бойтесь и королеву чтите.

— В Библии этого нет! — Каптейн раздраженно уставился на отца.

— Правильно, — согласился отец. — Там сказано: «Бога бойтесь, царя чтите»<sup>6</sup>. Но в нашем случае это означает — королеву.

— Теперь нет ни короля, ни королевы! — взревел Каптейн. — Мы управляем страной! А вы все — нарушители закона!

Вновь зазвонил колокольчик. И опять начались допросы и аресты. Не успел молодой человек, один из наших помощников, опуститься на стул, как пришел кто-то еще. Мне казалось, что у нас никогда не было столько посетителей. Вскоре вся столовая наполнилась арестованными. Больше всего мне было жаль наших клиентов, пришедших за часами. Наверху продолжали стучать, и это немного успокаивало. Новый звук заставил меня вздрогнуть: внизу зазвонил телефон.

— Так у вас подключен телефон! — обрадовался Виллемс.

Он оглядел комнату, схватил меня за руку и потащил вниз.

— Отвечайте! — приказал он, приложив трубку к моему уху.

— Квартира и магазин тен Боомов, — металлическим голосом произнесла я. Но женщина на другом конце линии не уловила необычную интонацию ответа.

— Госпожа тен Боом, вам грозит опасность! — взволнованно говорила она. — Арестован Герман Слюринг, им все известно. Будьте осторожны!

Виллемсу все было прекрасно слышно.

Не успела женщина повесить трубку, как вновь раздался звонок: на этот раз мужской голос предупредил:

— Германа увезли в полицейское управление. Им все известно...

И лишь когда я в третий раз повторила ледяным тоном: «Квартира и магазин тен Боомов» в трубке наконец-то раздался щелчок: сработало!

— Алло! Алло! — вырвал у меня трубку Виллемс.

Но телефон молчал. Виллемс притащил меня назад в столовую, толкнул к стулу и сообщил Каптейну:

— Наши друзья, кажется, поняли, что происходит. Но я слышал достаточно.

— Мы все обыскали, Виллемс, — сказал какой-то человек, возникший в дверях. — Если здесь и есть потайная комната, ее устроил сам дьявол.

Виллемс окинул нас троих — меня, Бетси и отца — пытливым взглядом.

— В этом доме есть потайная комната, — спокойно проговорил он. — И ею пользуются. Мы оставим возле дома охрану и будем ждать, пока те, кто прячется в ней, не превратятся в мумии.

Ко мне на колени прыгнул Махер Шалал Хашбаз, свернулся в клубок и тихо замурлыкал. Я погладила его. Что будет с нашим любимцем? О людях я не позволяла себе думать.

Вот уже полчаса дверной колокольчик не подавал голоса. Видимо, последний из звонивших успел всех предупредить. Теперь уже никто не попадет в западню в этом доме.

Вероятно, Виллемс пришел к такому же заключению, потому что вдруг приказал всем встать и спускаться вниз. Нас троих выпустили из столовой в последнюю очередь, выведя сперва людей из комнат тети Янс. Мне удалось мельком увидеть Нолли, Петера и Виллема.

Итак, все тен Боомы были в сборе: отец, четверо его детей и даже внук. Каптейн крикнул мне:

— Живей!

Отец снял с вешалки свой цилиндр. Проходя мимо стареньких ходиков, он задержался, чтобы подтянуть гирьки:

— Часы всегда должны идти! — сказал он.

Неужели он и в самом деле думал, что мы скоро вернемся?

Снег на улице растаял, грязная вода текла по сточным канавам. Мы прошли переулком к Смедестраат. Это длилось не более минуты, но я успела замерзнуть, прежде чем мы очутились за двойными дверями полицейского управления. В вестибюле я поискала взглядом знакомых полицейских, но, похоже, вместо них поставили немецких солдат. Нас провели по коридору к массивной металлической двери, возле которой я в последний раз виделась с Гарри де Врисом. За ней оказалось просторное помещение — гимнастический зал. Окна под потолком были забраны металлической сеткой. В центре за столом сидел немецкий офицер. Я больше не могла стоять и рухнула на мат.

В течение двух часов офицер записывал имена, адреса и прочие данные арестованных, которых я насчитала 35 человек. Потом привели новую партию, я искала среди них Пиквика, но не нашла. Один из задержанных, наш знакомый часовщик, подошел и присел рядом со мной и отцом. Он казался крайне расстроенным нашим арестом и выражал свое сочувствие.

Наконец, утомившись, офицер вышел. Впервые после сигнала тревоги в нашем доме у нас появилась возможность переговорить. Я заставила себя сесть и прохрипела:

— Скорее! Нам надо договориться, какие давать показания. Многие из нас могут говорить правду, но... — тут я запнулась, заметив отчаянные знаки, подаваемые мне Петером из-за спины подсевшего к нам часовщика.

— Но если станет известно, что дядя Виллем читал нам из Ветхого Завета, у него могут быть неприятности, — договорил за меня племянник. Он сделал мне знак, и я с трудом встала на ноги.

— Тетя Корри! — прошептал Петер, когда мы отошли в угол. — Этот человек, часовщик, — он агент гестапо.

Петер погладил меня по голове, словно ребенка.

— Иди, отдохни, тетя Корри, и ради всего святого, не говори лишнего!

Разбудил меня стук распахнувшейся двери.

— Тихо! — крикнул грозно Рольф. Он наклонился к Виллему и что-то сказал ему, затем громко объявил: — Туалеты во дворе, можете выйти по одному под конвоем.

Виллем подсел ко мне на мат.

— Рольф сказал, что мы можем воспользоваться этой возможностью и избавиться от вещественных доказательств.

Я пошарила по карманам. При мне оказалось несколько мелких купюр и два-три обрывка бумаги.

В туалете возле умывальника обнаружилась металлическая кружка на цепочке, и я впервые после чашки чая, принесенной мне утром Бетси, вволю напилась воды.

Вечером полицейский принес большую корзину свежих булочек, но кусок не лез мне в горло, я могла только пить. Вернувшись в очередной раз из туалета, я увидела, что вокруг отца собрались на молитву люди. Каждый день моей жизни завершался подобным образом: ровный низкий голос, вселяющий уверенность в покровительстве Всевышнего, читал очередную главу из Библии. Теперь она осталась на полке в столовой, но отец хранил слова Писания в сердце. Его голубые ясные глаза смотрели, казалось, сквозь стены этого зала, за пределы Харлема, устремляясь мысленно куда-то в просторы вселенной.

«Благословен Господь, твердыня моя... прибежище мое и Избавитель мой, щит мой, — и я на Него уповаю... Прости с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня... от руки сынов иноплеменных...»<sup>7</sup>

В эту ночь никому не удалось выспаться. Всякий раз, когда кто-нибудь выходил из зала, ему приходилось переступать через других. Наконец за окнами посветлело, полицейский снова принес булок. Время тянулось мучительно медленно. Я прислонилась к стене, стараясь хоть немного успокоить боль в груди. В полдень солдаты приказали нам подниматься. Мы поспешно натянули пальто и гуськом пошли по бесконечным холодным коридорам.

Перед зданием полицейского управления мы увидели толпу людей, оттесненную цепью солдат и отгороженную железными барьерами. Когда мы с Бетси вывели едва державшегося на ногах отца, по Смедестраат прокатился ропот: почетного старейшину Харлема упрятали за решетку!

Напротив дверей урчал зеленый автобус, в котором уже сидели вооруженные охранники. Под рыдания и крики друзей и родственников арестованных запикивали в автобус. Когда подошла наша очередь, мы застыли на месте: двое солдат тащили под руки избитого и окровавленного Пиквика. Он был без пальто и без шляпы, похоже, он даже не заметил нас.

Мы втроем втиснулись на сиденье возле передней двери.

Я взглянула в окно и увидела в толпе Тину.

Автобус вздрогнул и медленно поехал по узкому людскому коридору к Гроуте Маркт.

Был ясный зимний день, один из тех, когда кажется, что воздух соткан из света... Собор сверкал, освещенный ярким солнцем...

И вдруг я вспомнила — однажды я уже пережила это! Я видела всех — отца, Виллема, Нолли, Пиквика, Петера, себя — в каком-то странном фургоне, запряженном четверкой лошадей. И вот то ночное видение повторилось наяву... Всех нас увозили из Харлема. Но куда?

# Схевенинген

Автобус выехал из Харлема и направился вдоль моря на юг. Справа виднелись песчаные холмы с силуэтами солдат на гребнях. Совершенно определенно нас везли не в Амстердам. Спустя два часа мы оказались в Гааге. Автобус остановился перед новым административным зданием, и кто-то прошептал, что это главное управление гестапо в Голландии.

Всех нас, кроме Пиквика, ввели в зал, и началась бесконечная процедура регистрации: имена, адреса, род занятий. За высоким барьером, перегораживающим помещение, я увидела Виллемса и Каптейна. Когда очередной арестованный подходил к барьеру, один из гестаповцев наклонялся к мужчине за пишущей машинкой и что-то шептал ему на ухо. Затем машинка начинала стрекотать.

— А вон тот старик... — обратил вдруг внимание на отца следователь, — его тоже необходимо было арестовывать и тащить сюда? Позовите-ка его ко мне!

Виллемс подвел отца к стойке.

— Я с радостью отправлю тебя домой, старина, — обратился к нему следователь, — дай только слово впредь не доставлять нам хлопот.

Я видела напряженную спину отца и упрямый холок седых волос на гордо вскинутой голове.

— Если сейчас меня отпустят домой, — произнес он спокойно и четко, — завтра же я открою дверь любому, кто в нее постучится за помощью.

— Встань в очередь, — крикнул следователь. — Живо! Я больше не потерплю никаких проволочек!

Но, похоже, именно ради проволочек и было устроено это дознание. Очередь тянулась мучительно медленно, звучали одни и те же вопросы, чиновники копались в бумагах, куда-то уходили и возвращались. Короткий зимний день за окном угасал. С самого утра у нас ничего, кроме булочек и воды, не было во рту.

— Не замужем, — в двадцатый раз за этот день сказала стоявшая передо мной Бетси.

— Количество детей?

— Я не замужем, — повторила сестра.

— Сколько у вас детей? — невозмутимо повторил следователь, даже не взглянув на нее.

— Детей нет, — со вздохом отвечала Бетси.

Мимо нас провели маленького толстого человека с желтой звездой на груди. Вскоре с другого конца зала послышались его отчаянные вопли.

— Это мое! — кричал толстяк, отчаянно пытаясь удержать что-то в кулачке. — Вы не имеете права отнимать это у меня. Это мой кошелек!

Что на него нашло? Зачем ему здесь деньги? Упрямство маленького человечка явно забавляло охранников.

— Получи, — с размаху ударил его ногой один из них. — Вот так мы забираем золото у евреев!

Охранники начали избивать человека. Наконец он упал, и его волоком вытащили в коридор.

Я обернулась и оказалась лицом к лицу с Каптейном.

— Эта женщина руководила всей подпольной сетью, — сказал он, и что-то подсказало мне, что я должна согласиться.

— Господин Каптейн говорит правду, — сказала я. — Все эти люди — они ничего не знали! Одна я во всем виновата...

— Имя? — равнодушно произнес следователь.

— Корнелия тен Боом. И я...

— Возраст?

— 52 года. Но уверяю вас, что никто из этих людей не был...

— Род занятий?

— Но ведь я уже раз десять говорила! — не выдержала я.

— Род занятий? — монотонно повторил следователь...

Наконец поздно ночью нас вывели из здания. Зеленый автобус уехал, на его месте стоял армейский грузовик с крытым брезентом кузовом. Двое солдат посадили отца. Пиквика не было видно. Мы втроем нашли местечко на скамейке у борта.

Грузовик затрясся по изрытым воронками улочкам Гааги. Я обняла отца за плечи, чтобы как-то смягчить толчки. Виллем шепотом рассказывал о том, что видел в темноте. Выехав из центра, мы помчались на запад, в пригородный район Схевенинген: там располагалась федеральная тюрьма.

Вскоре грузовик резко затормозил, потом продвинулся на несколько метров вперед и остановился. Тяжелые железные ворота захлопнулись за нами. Спрыгнув на землю, мы увидели, что находимся внутри двора, обнесенного высокой кирпичной стеной. Солдаты завели нас в длинное приземистое строение. От ударившего в глаза ослепительного света я зажмурилась.

— Лицом к стене! — по-немецки скомандовал охранник.

Кто-то больно толкнул меня в спину, я уткнулась носом в потрескавшуюся штукатурку. Скосив глаза, я увидела сперва Виллема, через два человека от него — Бетси, а напротив, через коридор, — Тос. Но где же отец?

Ожидание казалось бесконечным. Трещины перед глазами превращались в лица, принимали очертания животных, ландшафта. Дверь справа от меня открылась, кто-то скомандовал:

— Заключенные женщины, следуйте за мной!

Голос надзирательницы прозвучал словно скрежет железных ворот. Отступая от стены, я посмотрела вокруг, ища отца, и увидела его: он сидел на стуле с высокой прямой спинкой. Видимо, кто-то из охранников сжалился над стариком.

Надзирательница тем временем уже вышла в коридор, а я все никак не могла оторвать взгляд от отца. Рядом с ним стояли Петер, Виллем, другие подпольщики.

— Отец! — в отчаянии закричала я. — Храни тебя Господь!

Отец посмотрел в мою сторону, его круглые очки сверкнули.

— И вас, мои дочери! — сказал он.

Я повернулась и пошла следом за другими женщинами. Дверь за мной захлопнулась.

Отец, увижу ли я тебя когда-нибудь?!

Бетси взяла меня под локоть. Мы ступили на плетеную дорожку, лежавшую посередине мокрого цементного пола.

— Заключенным запрещается ходить по дорожке, — скучным голосом заметил шедший следом охранник, и мы виновато сошли с дорожки для избранных.

В конце коридора за столом восседала дама в форме. Арестованных подводили к ней, и она отбирала у

них все, что ей представлялось ценным. Нолли, Бетси и я расстались со своими красивыми наручными часами. Заметив у меня на пальце тоненькое золотое колечко — память о маме, — надзирательница приказала снять его. Я молча повиновалась, положив кольцо на стол вместе с кошельком.

По обе стороны от нас тянулись узкие металлические двери. Сверяясь со списком, охранница методично одну за другой отпирала их, лязгал запор, скрипели петли, очередная арестованная исчезала в камере. Мне с трудом верилось, что весь этот кошмар начался всего лишь сутки тому назад. Вот повели женщину, приходившую к нам по средам на собрания Виллема, и я отметила, что харлемцев не помещают в одну и ту же камеру. Бетси значилась в самом начале списка, она переступила порог камеры, даже не успев обернуться или что-либо крикнуть мне. Потом захлопнулась дверь за Полли — этот звук запомнился мне надолго. Мы свернули налево, потом направо, вновь налево — по лабиринту из стали и бетона. Наконец я услышала:

— Корнелия тен Боом!

Камера оказалась чуть шире двери. На единственной металлической койке у стены лежала заключенная, трое других сидели на соломенных матрасах, лежащих на полу. Меня скрутил приступ надрывного кашля, я едва не задохнулась.

— Уступи ей койку, — приказала лежавшей надзирательница, — она больна.

— Только больных нам не хватало! — воскликнула одна из женщин.

Все они поспешно отодвинулись от меня как можно дальше.

— Я... я... простите... — прохрипела я.

Но самая молоденькая из моих товарищей по несчастью сказала:

— Не извиняйтесь, вы не виноваты. Позвольте мне повесить ваше пальто и шляпу. Фрау Микес, уступите ей место!

С благодарностью передав моей заступнице свою шляпу, я продолжала кутаться в пальто. Койку освободили. Я, покачиваясь, протиснулась к ней, стараясь не дышать и не чихать. Но едва я плюхнулась на койку, как меня вновь охватил приступ кашля: от матраса поднялось облако удушающей пыли.

Наконец мне полегчало, и я прилегла. Резкая вонь ударила мне в ноздри. Сквозь матрас чувствовалась каждая перекладина. «Я никогда не засну на такой кровати», — подумала я и тотчас же провалилась в забытие.

Проснулась я наутро от стука в дверь.

— Завтрак, — сказали мне сокамерницы.

Оконце в двери открылось, квадратная доска со стуком откинулась внутрь камеры, образовав полочку, и невидимая раздатчица поставила на нее миски с дымящейся овсяной кашцей.

— У нас новенькая, — закричала через оконце фрау Микес. — Нам теперь полагается пять порций!

На полочке появилась еще одна миска.

— Если вы не голодны, — затараторила фрау Микес, — я с радостью помогу вам разделаться с вашей порцией.

Я взяла миску, посмотрела на малоаппетитное мезиво и молча передала ее соседке. После завтрака миски были собраны и возвращены через окошко раздатчице.

Вскоре задвижка вновь щелкнула, дверь приоткрылась, и чья-то рука поставила на пол отхожее ведро и таз для умывания. В коридор были переданы таз с грязной водой и использованное ведро. Мои соседки свернули матрасы и сложили их в углу камеры, подняв новую пыльную бурю, из-за чего у меня опять случил-

ся приступ кашля. А затем воцарилась тюремная тоска, которой я очень скоро начала бояться больше всего.

На первых порах я пыталась разговаривать с сокамерницами, но они уклонялись от ответов на мои вопросы, хотя и были любезны, — насколько это вообще было возможно среди людей, в буквальном смысле обитающих на головах друг друга. Тем не менее мне удалось выяснить, что молодая женщина, поддерживавшая меня, была баронессой семнадцати лет от роду. Она непрерывно расхаживала взад-вперед по камере, шесть шагов до двери, шесть — обратно, и так — пока не выключался на ночь свет.

Фрау Микес, как оказалось, была австрийкой, работала в конторе уборщицей. Она очень убивалась по оставшемуся без присмотра кенарю: «Бедная крошка, что с ним будет, кто его накормит и напоит?»

Ее причитания напоминали мне о нашем коте: «Удалось ли Махер Шалал Хашбазу улизнуть на улицу или он умирает с голоду в опечатанном доме?» Я представляла себе, как кот тоскливо трется о ножки стульев, скучая по плечам, по которым он так любил совершать прогулки во время обеда.

О людях, оставшихся в нашем доме, я запрещала себе думать, ведь теперь я уже ничем не могла им помочь. Но Господь знает, что они там, и поможет им...

Одна из женщин сидела в Схевенингене уже третий год. Она научилась по звуку шагов определять, кто проходит мимо камеры, раньше других слышала бряцание тележки с едой. Ее мир сузился до бетонной клетки и коридора за железной дверью, и вскоре я стала постигать с ее помощью премудрость такого ограниченного бытия.

Первые дни своего заточения я постоянно тревожилась об отце, Бетси, Виллеме, Нолли, Пиквике... Ест ли папа тюремную пищу? Такое же тонкое одея-

ло у Бетси? Эти мысли доводили меня до полного отчаяния, и очень скоро я научилась не поддаваться им. Я пыталась думать о чем-то другом, но о чем? И тут мне пришло в голову попросить фрау Микес, чтобы она научила меня играть в карты, сделанные из туалетной бумаги, которую выделяли дважды в день каждому заключенному. Сама она часами раскладывала пасьянс. В нашем доме не играли в карты, и по мере того, как я познавала тонкости этой игры, я начала задумываться над тем, почему отец был всегда против столь невинной, на первый взгляд, забавы. Со временем я разглядела таящуюся в картах опасность: это был азарт. Если мне везло, мое настроение повышалось, мне казалось, что это добрый знак. Но неудача ввергала меня в тревогу: мне представлялось, что кто-то заболел, или обнаружили людей в потайной комнате, или еще что-нибудь в том же духе.

В конце концов мне пришлось бросить это занятие: сидеть за картами несколько часов подряд стало трудно. Я все больше времени лежала на матрасе, тщетно пытаясь принять наименее болезненное положение. Не отпускала головная боль, ломило суставы, замутил кашель. И вот однажды утром, когда я металась в жару, дверь распахнулась и грозная надзирательница металлическим голосом произнесла:

— Корнелия тен Боом! С вещами на выход!

Я оглянулась по сторонам, надеясь, что кто-нибудь из сокамерниц подскажет мне, что это значит.

— Тебя выведут наружу, — шепнула мне самая опытная в тюремных делах женщина. — Если велят взять вещи, значит, поведут наружу.

Пальто было на мне, так что оставалось лишь снять с крючка шляпу и выйти в коридор. Заперев дверь, надзирательница решительно устремилась вперед, да так быстро, что я едва успевала за ней. Задышавшись от

этой непосильной для меня гонки, я тем не менее оглядывалась на двери камер, пытаюсь вспомнить, за которыми из них исчезли мои сестры.

Наконец мы вышли во двор, и я увидела небо! Голубое небо — впервые за две недели. Боже, как высоко парят облака, неописуемо белые и красивые. Мне вдруг вспомнилось, как много значило небо для мамы.

— Быстрее! — подтолкнула меня надзирательница.

Я ускорила шаг. Надзирательница открыла заднюю дверцу поджидавшего нас черного автомобиля, и я плюхнулась на сиденье рядом с солдатом и женщиной с серым страдальческим лицом. Впереди, бессильно откинув голову, полулежал крайне изможденный мужчина. Едва машина тронулась с места, как моя соседка судорожно зажала рот скомканным платком и раскашлялась. Все стало ясно: нас везут в больницу.

Массивные ворота выпустили сверкающий лимузин из каменного мешка, и я с жадностью припала к окну: вокруг вновь был утраченный мир свободных людей.

Они расхаживали по улицам, заглядывая в витрины магазинов, останавливаясь, чтобы поболтать со знакомыми. Неужели и я всего две недели назад жила в этом мире?

Наконец машина остановилась. Солдат и шофер потащили мужчину вверх по лестнице серого здания. Мы сами поднялись по ступенькам и вошли в людный вестибюль, где охранник приказал нам сесть на скамью. Прошло не менее часа, прежде чем я осмелилась попроситься в туалет. Солдат переговорил с медсестрой, сидевшей с каменным лицом за стойкой регистратуры, и та бесцветным голосом бросила мне:

— Пройдемте со мной!

Но едва мы, завернув за угол, вошли в сияющий кафелем туалет, она захлопнула за собой дверь и, прижавшись к ней спиной, прошептала:

— Только быстро! Чем я могу помочь?

Я растерянно заморгала.

— О да, конечно! — наконец спохватилась я. — Библия! Вы не могли бы достать для меня карманную Библию? И еще — иголку с ниткой. И зубную щетку. И мыло!

Сестра с сомнением закусила губу.

— Сегодня так много больных, да еще этот солдат...

Но я сделаю, что смогу.

Сестра вышла, и я стала с удовольствием умываться. Мне показалось, что в комнате стало еще светлее — от неожиданного сочувствия постороннего человека.

— Живее! — послышался из-за двери голос охранника. — Что вы копаетесь!

Я вернулась вместе с солдатом в вестибюль. Моя добрая фея вновь сидела с непроницаемым лицом. Она даже не посмотрела в мою сторону, когда я проходила мимо стойки. После томительного ожидания вызвали в кабинет и меня. Доктор попросил меня покашлять, измерил температуру, давление, послушал через стетоскоп и объявил, что у меня предтуберкулезный осложненный плеврит. Написав что-то на листе бумаги, он положил руку мне на плечо и прошептал:

— Надеюсь, мой диагноз вам поможет.

В приемной меня уже поджидал охранник. Когда мы проходили мимо медсестры, она быстро вышла из-за стойки и проскользнула между мной и солдатом с озабоченным видом, незаметно сунув мне в руку сверточек, который я тотчас же опустила в карман пальто. Вторая заключенная уже сидела в машине. Больной мужчина так и не появился, мы уехали без него.

Весь обратный путь я не вынимала руку из кармана, ощущая драгоценный сверток: «Боже, он такой маленький, но там вполне может быть... Пусть это будет Библия!»

Вот впереди возникли мрачные тюремные ворота. Они зловеще захлопнулись за нами. Я прошла по гулкому коридору и вновь очутилась в камере. Женщины окружили меня, и я трясущимися руками наконец развернула сверток. При виде двух кусочков настоящего довоенного мыла фрау Микес даже зажала себе рот ладонью, чтобы не закричать от восторга. Ни зубной щетки, ни иголки в свертке не оказалось, зато была целая упаковка английских булавок. Но главное — о неслыханное богатство! — там были четыре Евангелия в брошюрах.

Я разделила поровну мыло и булавки, однако взять брошюру никто не решился.

— Это непременно найдут, — заметила тюремная старожилка, — тогда не миновать неприятностей: могут удвоить срок да еще посадить на хлеб и воду.

Угроза лишения пищи висела над заключенными дамокловым мечом. Это наказание могло последовать за малейшее нарушение режима. Но мне оно казалось смехотворной платой за драгоценные книжечки, которые я сжимала в руках.

Спустя два дня, уже перед отбоем, дверь внезапно распахнулась, и вошедшая в камеру надзирательница скомандовала:

— Корнелия тен Боом! Собирайтесь на выход — с вещами!

— Вы хотите сказать, что...

— Молчать! Не разговаривать!

Мне не надо было долго собираться: все мои вещи состояли из шляпы и рубашки, сохнувшей на вешалке после безуспешной попытки отстирать ее в грязной воде. Пальто же с драгоценными подарками в кармане было на мне. «Но почему такие строгости? — недоумевала я. — Почему мне не разрешают даже попрощаться с соседками?» Мне ничего не оставалось, кроме как

обменяться с подругами выразительными взглядами и последовать за надзирательницей. Заперев камеру, она, к полному моему недоумению, пошла в направлении, противоположном выходу во двор. Так и не сказав ни слова, она провела меня по коридору и остановилась возле двери в другую камеру. Здесь она смерила меня презрительным взглядом с головы до ног, молча отперла дверь и кивком головы приказала заходить. Дверь за мной захлопнулась. Щелкнула задвижка. Я оказалась совершенно одна в пустой камере, точно такой же, как и предыдущая: два шага в ширину и шесть шагов в длину, с единственной койкой. Я бессильно прижалась спиной к двери...

Только не давать волю мыслям! Только трезвый расчет. Шесть шагов вперед. Сесть на койку. Так, кажется, солома в матрасе вообще сгнила. Я потянула за край одеяла: кого-то вырвало прямо на матрас. С отворачиванием я бросила одеяло, но было слишком поздно: пришлось самой рвануться к ведру и нагнуться над ним.

В этот момент погас свет. Я на ощупь добралась до койки и, стиснув зубы, легла на одеяло. В этой камере было жутко холодно, видимо, она была угловой: за стеной слышалось заунывное завывание ветра.

Почему меня изолировали? Узнали о разговоре с медсестрой? Или выбили показания из кого-то? Сколько продлится мое одиночное заточение? Месяцы? Годы?

К утру у меня поднялась температура. Я с большим трудом встала, чтобы взять миску с кашей, но даже не притронулась к ней. Вечером окошко вновь открылось, и на полочке появилась буханка серого хлеба. У меня не нашлось сил, чтобы взять ее, и чья-то рука просто швырнула хлеб на цементный пол. Я дотянулась до него и принялась отщипывать кусочки.

Еще несколько дней ужин доставлялся мне подобным образом. По утрам женщина в синем халате вносила тарелку овсянки. Я пыталась с ней заговорить, но она лишь испуганно трясла головой и кивала в сторону двери. Один раз в день приходил санитар из тюремной медсанчасти, тоже из заключенных, с грязным пузырьком какой-то едкой жидкости. Когда он вошел первый раз, я вцепилась ему в рукав:

— Умоляю! Скажите, вы не видели седого старика с бородой? Его зовут Каспер тен Боом. Вы наверняка носили ему лекарство!

Санитар вырвался и отскочил к двери.

— Я ничего не знаю!

Дверь со стуком распахнулась, и в камеру влетела разъяренная надзирательница.

— Одиночным заключенным запрещено разговаривать! Еще одно слово, и вас лишат горячей пищи!

Этот же санитар измерял у меня температуру. Мне приходилось раздеваться, чтобы засунуть термометр под мышку. В конце недели раздраженный голос сказал мне через окошко:

— Вставайте и сами возьмите еду, вы вполне здоровы.

Я чувствовала, что жар еще не спал, но мне ничего не оставалось, кроме как подняться и взять свою миску. Когда я, съев кашу, вернула миску и вновь прилегла, раздался окрик:

— Опять легли? Сколько можно лежать!

«Почему нельзя днем лежать? И чем еще тут можно заниматься?» — тревожные мысли совершенно измучили меня. Даже в молитвах боялась я называть имена дорогих людей: столь велики были во мне страх и тоска.

— Ты сам знаешь, Господи, — шептала я, — Ты сам знаешь, кого я люблю. Ты видишь их. Так сохрани же их, прошу Тебя!

По многу раз я мысленно перебирала содержимое оставленного дома тюремного баула. Свежая блузка! Аспирин, целый пузырек аспирина! Мятная зубная паста! И... Тут я ловила себя: что за несусветная чепуха лезет мне в голову! Если бы все повторилось, я поступила бы точно так же. Но спустя секунду те же мысли вновь одолевали меня. Полотенце, аспирин...

И все же новая камера имела одно преимущество: в ней было окно. Маленькое оконце под потолком, забранное решеткой из семи чугунных прутьев поперек и четырех вдоль. Через эти 28 квадратиков я могла видеть небо.

Целыми днями я смотрела на эти кусочки неба. Порой по ним проплывали облака — белые, розовые с золотистыми краями, а когда ветер дул с запада, я слышала шум моря. Но самым лучшим было время, примерно около часа каждый день, когда сумрачную камеру освещали лучи солнца. Становилось все теплее, и я набиралась сил, чаще подставляя солнцу лицо и грудь, передвигаясь вместе с ним вдоль стены, забираясь на койку и приподнимаясь на цыпочках в погоне за последними лучами.

Окрепнув, я могла уже дольше читать Евангелие. Я проглатывала страницу за страницей, и невероятные мысли рождались в моей голове. Возможно ли, что все происходящее — эта война, тюрьма, мое одиночное заключение — является случайностью, чем-то непредвиденным? Не есть ли это частица плана Божьего? Разве Иисус, прежде чем одержать победу, не потерпел поражение, как и мы?

Но если судьба каждого христианина отражает судьбу Иисуса, то через Евангелие Всевышний проявляет Свои деяния и можно надеяться, что наше поражение — это начало победы. Я смотрела на стены камеры и думала: «Какая же победа возможна в подобном месте?..»

Мне представлялось исключительно важным следить за временем, поэтому я решила сделать примитивный календарь. В первой камере меня научили, как изготовить нож из ребра корсета. Заточив пластину о цементный пол, я нацарапала на стене за койкой клеточки для каждого дня, а также несколько важных дат:

28 февраля 1944 года — арест;

29 февраля 1944 года — перевод в Схевенинген;

16 марта 1944 года — начало одиночного заключения;

15 апреля 1944 года — день моего рождения...

День рождения полагается отпраздновать, но что можно придумать здесь, в тюрьме?

Напрасно искала я хоть какую-то яркую вещь, как красная шляпа баронессы из первой камеры или желтая блузка фрау Микес. Как же я сокрушалась из-за того, что у меня нет вкуса к одежде! Я решила хотя бы спеть в честь такого события и выбрала песню о знаменитой харлемской вишне: в ту пору она должна была цвести. Слова песенки воскресили в памяти и ветви в цветах, и нежные лепестки на тротуаре, и многое-многое другое...

— Тихо там! — загремели удары по железной двери. — Петь запрещается!

Я села на койку, раскрыла Евангелие от Иоанна и начала читать, пока не стихла боль в сердце.

Через два дня все та же надзирательница с мрачным лицом впервые повела меня в душевую. Впечатление от прогулки по коридору было омрачено ее сверлящим взглядом, но как же велика была радость, охватившая меня при виде женщин, сидящих в предбаннике! Разговаривать запрещалось, но даже в тишине близость людей вселяла надежду. Я жадно вглядывалась в лица выходящих из душевой, но среди них не

оказалось ни одного знакомого. И все же, подумалось мне, все эти женщины — мои сестры. Как богат тот, кто может просто созерцать людские лица!

Душ был замечателен: теплая чистая вода — лучший бальзам для гноящейся кожи и свалевшихся волос. В камеру я возвратилась с твердым решением: в следующий раз непременно захвачу с собой три брошюры. Одиночество учило меня: нельзя быть богатым только для себя.

Но я больше не была одинока: в мою камеру проник маленький юркий муравей. Я чуть было не наступила на него однажды утром, когда несла ведро к двери. Извинившись перед желанным гостем за свои огромные размеры, я дала ему слово впредь быть осмотрительнее, нагнулась и с наслаждением принялась разглядывать его на удивление гармонично устроенное тельце.

Вскоре муравей нырнул в трещину. Но когда вечером я бросила на пол несколько крошек хлеба, он тотчас же появился, подхватил самую большую и героически потащил добычу в свое жилище. Основа нашей дружбы была заложена.

Отныне у меня кроме солнечных лучей было общество смелого и симпатичного существа, а вскоре — и целой муравьиной семейки. И если я в момент появления гостей стирала белье или точила пластину, то немедленно прекращала свои дела и отдавала «друзьям» все внимание.

Как-то вечером, когда я вычеркивала из календаря очередной томительный день, в конце коридора послышались крики. Шум усиливался, и мне это показалось странным: куда подевались все надзиратели?

Я прислушалась, но в общем гомоне невозможно было что-либо понять. Назывались имена, выкрикивались номера камер, слышалось пение, стук кулаков по дверям.

— Ради бога! Тише! Умоляю! — крикнул кто-то из соседней камеры. — Давайте разумно используем время, пока не вернулись надзиратели!

— Что происходит? — крикнула я.

— Вся охрана празднует день рождения Гитлера!

— Я Корри тен Боом! Вся моя семья где-то здесь! Кто-нибудь видел Каспера тен Боома? Бетси или Нолли? Виллема тен Боома? — кричала я до хрипоты, и соседи передавали имена дальше по коридору. Вскоре полетели ответы:

— Бетси тен Боом сидит в камере 312! Она говорит, что Господь милостив!

Да, это Бетси! Это, конечно, моя сестра!

— Нолли ван Вурден была в камере 318! Но ее освободили почти месяц назад!

Нолли на свободе! Слава Богу!

Тос — тоже свободна!

Петер ван Вурден — освобожден!

Герман Слюринг — освобожден!

Виллем тен Боом — освобожден!

Всех, задержанных в нашем доме, освободили, кроме меня и Бетси. Лишь об отце ничего не было известно. Его никто не видел.

Спустя примерно неделю дверь в мою камеру открылась, и на пол упал сверток. В одном месте оберточная бумага была надорвана и выглядывал краешек голубой кофты! Посылка была от Нолли. Как она понимала, что в тюрьме не хватает ярких тонов! Я надела кофту и словно бы почувствовала руки Нолли на своих плечах. Кроме кофты в посылке были красное полотенце, домашнее печенье, иголка с нитками, пачка витаминов.

Я надкусила печенье, и в этот момент меня осенило: ведь из красной целлофановой упаковки получится прекрасный абажур. Я передвинула койку на сере-

дину камеры, встала на нее и прикрыла голую лампочку целлофаном — камера тотчас же стала уютней. Заворачивая печенье в коричневую бумагу, я обратила внимание на то, что надпись на ней, сделанная рукой Нолли, уходила вверх, к самой марке. Но у сестры всегда был исключительно ровный почерк. Марка! Ведь однажды мы получили донесение под маркой! А вдруг... Усмехаясь над разыгравшимся воображением, я отклеила марку и пригляделась к квадратику под ней. Там были буквы! Я снова встала на койку, чтобы лучше видеть.

«Все часы в кладовке целы», — прочитала я.

Это означало, что Эйси, Хенк, Мэри и все остальные благополучно выбрались из убежища и улизнули из-под носа охраны. Они свободны!

Я едва не разрыдалась от радости. В коридоре слышались торопливые шаги. Едва я спрыгнула на пол и придвинула койку к стене, как щелкнула задвижка.

— Что здесь происходит? — крикнула надзирательница в окошко.

— Ничего. Я больше не буду.

Окошко захлопнулось. Я осталась наедине со своими мыслями: «Как им удалось все это сделать? Кто им помог?» Для меня это было загадкой...

Дверь камеры отворилась. Вошел немецкий офицер в сопровождении начальницы женского корпуса. Ряды боевых нашивок сверкали на тщательно отутюженном мундире высокого посетителя.

— Госпожа тен Боом, — произнес он на прекрасном голландском, — у меня к вам несколько вопросов. Надеюсь, вы соблаговолите ответить на них.

Начальница услужливо пододвинула офицеру стул. В ней трудно было узнать надменную и грубую особу, наводившую ужас на всех заключенных женщин. Сейчас это была сама любезность и предупредительность.

Офицер жестом руки предложил мне присесть на койку. В его манерах ощущалось нечто от мира, который был за стенами тюрьмы. Достав из кармана аккуратный блокнотик, он стал зачитывать какие-то имена. Я же вдруг со стыдом вспомнила о своей помятой одежде и запущенных ногтях.

Ни одно из перечисленных имен не было мне знакомо, о чем я и сообщила офицеру с легким сердцем. Вот когда в полной мере проявилась мудрость выдумки с вездесущим господином Смитом!

Офицер встал.

— Вы готовы в ближайшее время предстать перед судом? — будничным голосом осведомился он.

— Да, я готова, — не совсем уверенно ответила я.

Офицер вышел в коридор. Ловко подхватив стул, начальница выпорхнула за ним.

Было 3 мая. Я сидела на койке и вышивала. С получением посылки от Нолли у меня появилось прекрасное занятие: я вытаскивала по одной нитке из красного полотенца и вышивала яркие узоры: окошечки с занавесками, цветочки с невероятным количеством листиков, зверюшек. Но только я начала трудиться над очередным цветком, как раздаточное окно со стуком распахнулось и на пол упал конверт.

Отложив работу, я подняла письмо. Почерк Нолли. Но почему дрожат мои руки? Конверт был вскрыт цензурой и, судя по штемпелю, задержан на неделю. И все же это была первая весточка из дома! Только откуда этот непонятный страх? Я развернула письмо.

«Корри, постарайся быть мужественной!»

Нет, нет, я не могу быть мужественной! Но я заставила себя читать дальше.

«Мне крайне тяжело сообщать тебе это известие. Наш отец вынес только десять дней заключения. Теперь он уже у Господа».

Отец! Отец! Письмо дрожало в моих руках, буквы плясали перед глазами. Подробности Нолли не сообщала, она сама не знала, где похоронили отца...

Кто-то проходил мимо моей двери по плетеной дорожке. Я прижалась лицом к окошку и взмолилась:

— Прощу вас! Пожалуйста!

Шаги стихли. Окошко открылось.

— В чем дело?

— Умоляю вас, не уходите! Я только что получила из дома дурное известие...

— Подождите минутку!

Шаги быстро удалились, потом вернулись. Открылась дверь.

— Выпейте это! — протянула мне таблетку и стакан воды молоденькая надзирательница. — Что случилось?

— Я получила письмо, — сказала я. — Умер мой отец...

Девушка изумленно уставилась на меня:

— Ваш отец?

И тут до меня дошло: ведь сама-то она еще совсем юная! Насколько старой, должно быть, казалась ей я! Девушка постояла немного, смущенная моими слезами, но наконец взяла себя в руки и строго заметила:

— Как бы то ни было, вы сами во всем виноваты! Не надо нарушать закон!

— Боже милостивый! — прошептала я, когда дверь за надзирательницей захлопнулась. — Как глупо было с моей стороны просить помощи у человека, когда Ты со мной! Ведь отец сейчас видит Тебя, он рядом с Тобой. Он и мама снова вместе, они гуляют по ярким улицам...

Я отодвинула койку от стены и нацарапала под календарем еще одну памятную дату:

9 марта 1944 года. Отец свободен.

## *Лейтенант*

Надзирательница вела меня по незнакомому коридору. Поворот направо, несколько ступенек вниз, снова направо, вдоль «священной» дорожки. Наконец мы вышли во внутренний дворик. Моросил мелкий дождь. В это прохладное утро конца мая меня впервые за три месяца вызвали на допрос.

Зарешеченные окна высоких зданий смотрели на меня с трех сторон. Вдоль каменной стены стояло несколько приземистых домиков: в них-то и проходили так называемые «разбирательства», а по сути — допросы, на которых решались судьбы заключенных.

«Господи, Ты ведь тоже представлял перед несправедливым судом. Укажи мне, что делать!»

И вдруг напротив четвертого домика я увидела клумбу тюльпанов. Сейчас стебли цветов поникли, листья пожелтели, и все же... «Господи, пусть меня отведут в этот домик!»

Охранница остановилась, чтобы надеть на голову капюшон. Вполне защищенная от дождя, она направилась по дорожке мимо первого домика, прошла второй, третий... Возле четвертого она остановилась и постучалась:

— Разрешите?

— Да. Войдите! — по-немецки ответил мужской голос.

Толкнув дверь, надзирательница вскинула руку в приветствии и отступила в сторону, пропуская меня. Навстречу мне шагнул офицер в мундире со множеством нашивок. Я узнала в нем любезного следователя, посещавшего меня в камере.

— Я лейтенант Рамс, — представился он, закрывая дверь. — Вы озябли, сейчас я разожгу огонь.

Он насыпал в пузатую чугунную печку угля из ведерка, как заботливый немецкий хозяин, встречающий дорогого гостя. Да не ловушка ли это? Не предпочитает ли он добиваться показаний от истосковавшихся по людскому участию заключенных вот таким вежливым обхождением, а не грубостью и насилием?

«Господи, не допусти, чтобы я по своему недомыслию и легковерию поставила под угрозу чужие жизни!»

— Надеюсь, — говорил между тем лейтенант, — холода не затянутся этой весной. Присаживайтесь, — предложил он мне.

Я осторожно опустилась на стул, ловя себя на мысли, что за эти месяцы успела отвыкнуть от ощущения спинки и подлокотников. Жар от печки быстро согрел меня и незаметно расслаблял.

— У вас такие высокие тюльпаны, — нерешительно заметила я, — они, должно быть, красиво цветут...

— О да! — по-детски обрадовался лейтенант Рамс. — Эти — самые удачные из всех, которые я здесь выращивал. Дома у нас всегда были голландские луковицы.

Мы еще немного поговорили о цветах, потом лейтенант сказал:

— Я очень хотел бы помочь вам, госпожа тен Боом. Но вы должны мне все откровенно рассказать: лишь в этом случае я смогу для вас что-нибудь сделать...

Вот все сразу и разъяснилось. Все его дружелюбие, участие — не более чем уловка, прием для выживания информации. Но почему, собственно, меня это коробит? Ведь он же профессионал, это его работа. Что ж, я тоже в некотором роде не новичок...

Битый час лейтенант расспрашивал меня, прибегая к тем самым психологическим трюкам, о которых предупреждали меня молодые люди из группы Сопротивления. Я чувствовала себя словно студент, до изнеможения готовившийся к экзамену и вытянувший самый легкий билет. Мне вскоре стало ясно, что немцы считали наш дом штабом налетчиков на конторы распределения карточек, а как раз об этой деятельности я знала меньше всего, так как только получала карточки и сдавала их. Моя неосведомленность была столь очевидна, что лейтенанту Рамсу в конце концов наскучило делать пометки в своем блокноте, и он отложил его в сторону.

— А что вы можете сообщить мне о другой вашей незаконной деятельности, госпожа тен Боом? — спросил он.

— Я вас понимаю, — с готовностью отозвалась я. — Вам интересно узнать, как я проводила собрания для умственно отсталых?

И я с жаром принялась рассказывать о своей проповеднической деятельности.

Брови лейтенанта ползли все выше и выше. Наконец он взорвался.

— К чему вся эта пустая трата времени и сил? Если вы хотите обратить больше людей в свою веру, не лучше ли потратить энергию на одного нормального человека, чем переводить ее на всех недоумков мира?

Я пристально посмотрела в серо-голубые глаза собеседника: вот она, философия национал-социализма! И цветочная клумба тут не играет никакой роли.

И вдруг, к собственному удивлению, я услышала свой голос:

— Могу я быть с вами откровенной, господин лейтенант?

— Я надеялся на это с самого начала нашей беседы, госпожа тен Боом, — строго произнес лейтенант. — Окажите мне такую честь!

— Истина, господин лейтенант, — отдельно проговорила я, — заключается в том, что взгляд Всевышнего на некоторые вещи отличается от нашего. И отличается настолько, что люди даже не догадывались об этом, пока Он не дал нам Книгу, в которой разъясняется очень многое...

Я сознавала, что разговаривать подобным образом с нацистским офицером — безумие. Но лейтенант Рамс не прерывал меня, и я продолжала:

— Из Библии я узнала, что Господь любит нас не за силу или ум, а просто потому, что создал нас. И кто знает, быть может, какой-нибудь недоумок в Его глазах куда ценнее часовых дел мастера. Или лейтенанта...

Лейтенант Рамс резко встал из-за стола.

— На сегодня достаточно, — сухо сказал он и, подойдя к двери, позвал охрану.

Я услышала звук шагов по гравиию. Вошла надзирательница.

— Проводите заключенную в камеру, — распорядился лейтенант.

Зачем я все это наговорила? Теперь уже этот человек ничего не станет для меня делать!

Однако на следующее утро лейтенант лично пришел за мной и отвел на допрос. Он, вероятно, ничего не знал о запрете для заключенных ступить на плетеную дорожку, потому что жестом предложил мне идти впереди него по середине коридора. Я старалась не смотреть на надзирательниц, с виноватым видом гля-

дя себе под ноги, словно домашняя собачонка, застигнутая хозяйкой на диване.

На сей раз на дворе было солнечно.

— Сегодня, — сказал лейтенант, — мы побеседуем на открытом воздухе. Ведь его вам так не хватает!

Я с благодарностью последовала за ним в дальний уголок двора, где мы прислонились к стене, подставив лица солнцу.

— Я не мог уснуть всю ночь, — проговорил лейтенант, прикрыв глаза. — Все время размышлял о Книге, из которой вы почерпнули столь необычные мысли. Что еще в ней говорится?

— В ней говорится, — со вздохом начала я, — что в мир пришел Свет, и нам уже не нужно блуждать во мраке. В вашей жизни, господин лейтенант, много мрачного?

Последовала длительная пауза.

— В моей жизни слишком много мрачного, — произнес наконец лейтенант. — Мне трудно нести груз возложенных на меня обязанностей...

И он стал рассказывать мне о жене и детях в Бремене, о своем саде, собаках, о путешествиях во время отпуска.

— На прошлой неделе Бремен опять бомбили. Каждое утро я задаюсь вопросом: живы ли они?

— Господин лейтенант, — сказала я, — есть Тот, который не выпускает ваших родных из виду. Свет, который указала мне Библия, — это Иисус. Он светит даже в таком мраке, в каком пребываете вы.

Лейтенант опустил фуражку ниже, на солнце блеснули череп и скрещенные кости кокарды.

— Что вы можете знать о мраке моей жизни, — прошептал он.

Допросы продолжались еще два дня. Оставив всякие попытки выудить из меня показания о подполь-

ной деятельности, лейтенант Рамс расспрашивал меня о моем детстве: о маме, об отце, о тетушках. Он вновь и вновь хотел слушать мои рассказы о них. Узнав, что отец скончался в тюрьме, лейтенант был потрясен: в моем деле об этом даже не упоминалось. Но там сохранился ответ на вопрос, почему меня перевели в одиночную камеру: «Состояние здоровья арестованной опасно для окружающих».

Я уставилась на эту строку, и вдруг мне стало зябко от воспоминаний о долгих ночах в холодной камере, в оцепляющем одиночестве.

— Но если это не наказание, почему так злятся на меня надзирательницы? Почему мне запрещено даже разговаривать?

Лейтенант подровнял лежавшую перед ним стопку бумаг.

— Видите ли, госпожа тен Боом, в тюрьме, как и в любом другом учреждении, свои правила, свои порядки...

— Но ведь я больше не опасна для окружающих! С каждой неделей мне становится значительно лучше, и совсем рядом моя родная сестра! Господин лейтенант, мне так хотелось бы повидаться с ней, поговорить несколько минут...

Лейтенант пристально посмотрел на меня, и я заметила в его глазах тоску.

— Госпожа тен Боом, — произнес, наконец, он, — я допускаю, что кажусь вам влиятельной фигурой. На мне мундир, я обладаю определенной властью над подчиненными, но я сам в тюрьме, и в тюрьме куда более прочной, чем эта, моя дорогая леди из Харлема.

Это был четвертый и последний допрос. Лейтенант собрал все бумаги и вышел, оставив меня одну. Мне жаль было расставаться с этим честным человеком. Самым трудным для него, похоже, было осознать, что христианину надлежит страдать.

— Как же вы можете верить в Бога, — спрашивал он меня, — после того, как ваш старый отец умер в тюрьме? Что же это за Бог, Который допускает такое?

Я подошла к печке, чтобы согреть руки. Мне тоже было непонятно, почему отец умер в тюрьме. Мне многое было непонятно. И внезапно я вспомнила слова отца: «Порой груз знания слишком тяжел, чтобы вынести его. Доверь же до поры эту ношу своему отцу!» Вот оно! Я решила рассказать о случае в поезде лейтенанту Рамсу, ведь ему было интересно все, связанное с отцом.

Однако лейтенант вернулся не один, а с надзирательницей из женского корпуса.

— Заключение тен Боом завершила дачу показаний, — сказал он, — и должна вернуться в камеру.

Когда я выходила из домика, лейтенант Рамс шепнул мне:

— Постарайтесь идти медленнее в коридоре «Е».

Идти медленнее? Как это понимать? Надзирательница просто летела по коридору, я едва успевала за ней. Впереди тюремный санитар отпирал дверь. Я почему-то сразу же подумала, что это камера Бетси. Вот я поравнялась с дверью. Бетси сидела ко мне спиной...

Ее сокамерницы с любопытством смотрели на меня, но сестра наклонилась над чем-то, лежавшим у нее на коленях. Я успела заметить, насколько уютно было в камере.

Невероятно, но даже в тюрьме Бетси умудрилась очень мило устроить свое жилище: свернутые тюфяки стояли вдоль стены, словно колонны, увенчанные дамскими шляпками, на полочке аккуратно лежали продукты, на стене, словно коврик, был растянут головной платок, а пальто висели таким образом, что напоминали взявшихся за руки детей.

— Живей! Живей! — услышала я окрик охранницы и даже подскочила на месте от неожиданности: мысленно я была рядом с Бетси.

Все утро в коридоре хлопали двери. Теперь ключи бряцали возле моей камеры. Вошла совсем молоденькая надзирательница в новеньком мундире.

— Заключенная — встать! Смирно! — срывающимся голосом скомандовала она.

У нее был явно испуганный вид. В дверном проеме возникла чья-то тень, затем в камеру вошла высокая женщина. Ее фигура и лицо были очень красивы, словно выточены из мрамора. В глазах ее я не заметила и проблеска чувств.

— Я вижу, здесь тоже нет простыней, — сказала она по-немецки надзирательнице. — Проследите, чтобы к пятнице они были. И менять каждые две недели.

Холодные как лед глаза равнодушно скользнули по мне.

— Как часто заключенную водят в душевую?

Надзирательница облизнула губы.

— Примерно один раз в неделю, госпожа комендант.

«Раз в неделю!» Скорее уж раз в месяц!

— Она будет ходить в душевую два раза в неделю!

Простыни! Регулярный душ! Неужели условия мои улучшаются?

Новая начальница корпуса прошлась по камере. Ей не надо было вставать на койку, чтобы дотянуться до лампочки. Раз — и она сорвала мой абажурчик из красного целлофана. Затем настала очередь коробочки из-под печенья, полученного со второй посылкой от Нолли.

— Никаких коробочек в камере! — закричала испуганно молоденькая охранница, словно я нарушила общеизвестное правило.

Я высыпала печенье прямо на койку, затем — содержимое пузырька с витаминами и мятные таблетки.

В отличие от своей предшественницы, новая начальница корпуса не визжала и не бранилась. Она лишь молча сделала надзирательнице знак ощупать матрас. У меня душа ушла в пятки: под матрасом лежала моя последняя брошюра Евангелия. Но то ли из-за волнения, то ли по другой причине надзирательница выпрямилась после осмотра с пустыми руками. Затем обе охранницы вышли.

Я тупо смотрела на койку. Мне представилась картина разорения в камере Бетси и стало как-то зябко, словно холодный ветер пронесся по коридорам Схевенингенской тюрьмы...

Именно новая комендантша отперла дверь моей камеры во второй половине июня. Вместе с ней вошел лейтенант Рамс. По суровому выражению его лица я поняла, что лучше проглотить вертевшееся на языке радостное приветствие.

— Вам надлежит пройти со мной в мой кабинет, — коротко сказал он. — Пришел нотариус.

— Нотариус? — вырвалось у меня.

— По закону родные покойного должны присутствовать при чтении завещания, — раздраженно сказал лейтенант Рамс и, не дав мне опомниться, вышел из камеры.

Я молча последовала за ним, спиной ощущая сверлящий взгляд комендантши. Закон? Какой закон? С каких пор оккупационные власти обременяют себя соблюдением голландских законов? Родные покойного... Нет, об этом не надо думать!

Комендантша проводила меня до выхода во двор и вернулась. Я вышла следом за лейтенантом. Он открыл дверь четвертого домика. Прежде чем мои глаза

успели привыкнуть к сумраку, я очутилась в объятиях Виллема.

— Корри! Сестренка! — он не называл меня так уже 50 лет!

Нолли обнимала меня одной рукой, сжимая другой руку Бетси, словно соединяя нас навеки. Бетси! Нолли! Виллем! Я не знала, чье имя выкрикивать первым. И еще здесь были Тина и Флип, а также какой-то мужчина. Приглядевшись, я узнала в нем харлемского нотариуса, которого мы приглашали несколько раз для консультаций в наш магазин.

Бетси заметно осунулась и побледнела. Виллем просто убил меня своим видом: он страшно похудел, кожа его пожелтела, в глазах было страдание. Тина сказала мне, что двое из его камеры умерли от желтухи. Я обняла брата, чтобы не видеть его лица, и слушала рокочущий бас. Виллем беспокоился за сына: его месяц тому назад схватили, когда он помогал американскому парашютисту добраться до Северного моря. Теперь Кика скорее всего уже отправили в Германию.

О последних днях жизни нашего отца стали известны следующие подробности. Он заболел в камере, его повезли в гаагскую больницу. Но там не оказалось свободной кровати, и отец умер в коридоре, никем не опознанный, без сопроводительных документов. Администрация больницы похоронила его на кладбище для бездомных нищих. Виллем надеялся, что ему удастся разыскать могилу.

Я взглянула на стоявшего ко мне спиной лейтенанта Рамса. Он молча глядел на холодную печь. Я быстро развернула сверток, который вложила мне в руку Нолли. Там оказалась карманная Библия, целая Библия в кошелечке со шнурком для ношения на шее. Я надела его через голову и сдвинула на спину, под блузу. У меня не было слов, чтобы отблагодарить сес-

тру, ведь накануне я отдала Евангелие какой-то женщине в душевой.

Виллем чуть слышно рассказал, что спустя несколько дней после нашего ареста солдат возле дома заменили полицейскими и во время дежурства Рольфа всех наших друзей перевели в надежное место.

— А сейчас? — спросила я шепотом. — С ними все в порядке?

Виллем опустил глаза: он не умел скрывать горькую правду.

— Они все целы и невредимы, кроме Мэри. Спустя несколько дней она почему-то вышла на улицу среди белого дня и ее арестовали...

— Время истекло, — повернулся к нам лейтенант Рамс. — Приступайте к чтению завещания, — кивнул он нотариусу.

Завещание было коротким и составлено в свободной форме: наш дом оставался жилищем для нас с Бетси на любой срок, как мы того пожелаем; если же дом или мастерскую решено будет продать, то отец выражал на этот случай надежду, что мы не забудем, что он любил нас всех в равной мере; в остальном же он с радостью вверял нас неустанной заботе Господа.

В воцарившейся тишине мы склонили головы.

— Господь наш Иисус! — произнес торжественно Виллем. — Благодарим Тебя за эти минуты свидания, ставшего возможным с благоволения этого доброго человека. Как нам отблагодарить его? Услужить ему не в наших силах. А потому, Господи, просим Тебя: возьми его и всю его семью под Свой покров!

Снаружи послышался хруст гравия...

# Вугт

— Собирайте вещи! Готовьтесь к эвакуации! Все имущество сложить в наволочки! — неслось по коридору.

Я застыла в растерянности посередине камеры. Эвакуация! Значит, что-то происходит! Может быть, началось контрнаступление союзных войск?

Сдернув наволочку, я дрожащими руками побросала в нее мои пожитки: голубую кофту, пижаму, украшенную вышивкой, зубную щетку, расческу и несколько галет, завернутых в туалетную бумагу.

Надев пальто и шляпу, я стала возле двери. Было раннее утро, пустую миску не успели забрать с откидной полочки. Но минул час, за мной не пришли, и я села на койку. Прошел еще час. Я сняла шляпу и пальто и положила их рядом с собой. Муравьи упорно не желали появляться из щели, чтобы попрощаться со мной, не прельстили их и крошки, которые я рассыпала возле их убежища. Видимо, почувствовав всеобщее волнение, они спрятались поглубже. И вдруг я осознала, что и у меня есть надежное убежище, где я могу укрыться в трудную минуту. Этим убежищем был Иисус. Я с благодарностью провела пальцем по трещинке — входу в потайную комнату своих друзей.

В полдень на стене появилось солнце, начав свое медленное путешествие по камере. И вдруг по всему коридору захлопали двери, загремели замки.

— На выход! Быстро! Всем выходить в коридор! Не разговаривать!

Я подхватила пальто и шляпу. Дверь распахнулась.

— Строиться в шеренгу по пять человек! — на ходу бросила надзирательница, гремя связкой ключей уже возле соседней камеры. Я вышла в коридор. Он был битком набит заключенными. Я даже не представляла себе, сколько их содержится в этой тюрьме! Мы смотрели друг на друга. «На-ступ-ление!» — отчаянно шептали все. Ну конечно же, союзники вошли в Голландию, с чего бы еще немцам эвакуировать заключенных?

Но куда нас повезут? Только бы не в Германию! Боже милостивый, только не в Германию!

Прозвучала команда, толпа двинулась по коридору. На большом тюремном дворе перед воротами началось новое ожидание, но оно было приятным, это томление перед выходом из опостылевшей темницы с ее холодными коридорами. Справа от нас, в другом конце двора, грелись на солнышке заключенные мужчины. Но как ни вертела я головой, нигде не видела Бетси.

Огромные ворота наконец заскрипели, пропуская колонну серых автобусов. Я вошла в третий. Сиденья были сняты, и мы стояли, плотно прижатые друг к другу.

Нас привезли в какой-то товарный двор на окраине города и опять выстроили в шеренги. Слышался шум автобусов, крики охранников. Было еще светло, но боль в желудке подсказывала мне, что время ужина давно прошло.

Вдруг впереди, слева от меня, в группе новоприбывших я заметила пучок каштановых волос. Бетси! Во

что бы то ни стало я решила пробраться к ней и начала молиться, чтобы нас продержали во дворе до темноты.

Долгий июньский день неохотно угасал. Гроыхнул гром, упало несколько капель дождя. По рельсам потянулись неосвещенные вагоны. Вот состав с лязгом остановился, потом немного прошел вперед и вновь замер, чтобы спустя некоторое время двинуться в обратном направлении. Так продолжалось около часа.

Было уже совершенно темно, когда прозвучала команда садиться в поезд. Заключенные хлынули к вагонам. Позади кричали и бранились охранники: они явно нервничали при перевозке такого количества людей. Я пригнулась и начала проталкиваться, работая локтями. Уже возле железных ступенек вагона я схватила Бетси за руку.

Забравшись в вагон и отыскав свободное местечко, мы обнялись и расплакались от радости. Четыре месяца заточения в Схевенингене были нашей первой разлукой за 53 года. Теперь, когда сестра вновь была рядом, мне казалось, что я вынесу любые страдания.

Состав стоял на запасном пути еще несколько часов, но для нас они пролетели незаметно. Бетси поведала мне о своих подругах по камере, я ей — о своих маленьких друзьях из щели в полу. Выяснилось, что Бетси, как всегда, раздала все свое имущество, включая Библию.

Около двух или трех часов ночи поезд наконец тронулся с места. Мы прижались к окну, но было совершенно темно. Луна скрылась за облаками.

Неужели нас увозят в Германию?

Вскоре мы по очертаниям узнали собор в Делфте. Спустя час или полтора догадались, что переезжаем мост.

Тянулись минуты, а стук колес над бездной все продолжался. Мы с сестрой переглянулись: конечно же,

это может быть только Мурдикский мост. Потом состав пошел на юг. Не на восток, в Германию, а на юг — в Брабант! Мы прослезились от радости.

Откинувшись на деревянную спинку сиденья, я закрыла глаза и погрузилась в воспоминания о другом путешествии в Брабант. Тогда тоже был июнь, рука матери сжимала руку отца при каждой резкой остановке, а за окнами тянулись сады, такие же, как за домом Виллема, где мы гуляли с Карелом...

Должно быть, я задремала. Я открыла глаза, когда поезд уже стоял. В окнах вспыхивал какой-то жутковатый отблеск.

— Быстрее! Быстрее же! — неслись отовсюду окрики охранников.

Мы с Бетси протолкались следом за другими заключенными по проходу и вниз по железным ступенькам. Поезд остановился где-то в лесу. Прожектора высвечивали широкую мокрую дорогу, вдоль которой стояли солдаты с винтовками в руках.

Подгоняемые криками охранников, мы быстро пошли мимо нацеленных на нас стволов.

— Быстрее! Сомкнуть ряды! Не останавливаться! По пять человек в шеренгу! — звучали по-немецки резкие команды.

Бетси уже задыхалась. Седая женщина впереди нас вышла из колонны, пытаясь обойти лужу, но солдат подбежал к ней и ударил прикладом в спину. Я подставила Бетси плечо, обняла ее и стиснув зубы потащила вперед.

Этот кошмарный марш продолжался не менее часа. Наконец мы подошли к деревянным баракам, огражденным колючей проволокой. В них не было кроватей, только длинные столы и скамьи. В полном изнеможении рухнули мы на скамьи и, положив головы на столы, уснули.

Когда мы проснулись, солнце уже светило сквозь окна барака. Очень хотелось есть и пить. Однако только на закате дня лагерная кухонная команда притащила котел с дымящимся варевом, на которое мы тотчас же с жадностью набросились.

Так началась наша жизнь на новом месте, именованном, как выяснилось, Вугтом — по названию близлежащей деревушки. В отличие от Схевенингена, где располагалась постоянная голландская тюрьма, концентрационный лагерь Вугт был построен оккупантами специально для политических заключенных. Мы же пока находились не в самом лагере, а в карантинной зоне.

Самым мучительным было безделье. С утра до вечера слонялись мы по бараку, не зная, чем заняться. Охраняли нас те же молоденькие надзирательницы, что и в тюрьме. Теперь, когда они оказались вместе с нами в одном помещении, они явно растерялись. Единственным способом поддержания порядка они считали крик, брань и угрозы. Вскоре уже весь барак был лишен половины рациона. Всем было запрещено разговаривать в течение суток.

И лишь одна надзирательница никогда не повышала голоса и не угрожала: это была высокая молчаливая начальница корпуса из Схевенингена. Она появилась в Вугте на третье утро во время переключки, и тотчас же в наших мятежных и нестройных рядах воцарилось некое подобие порядка. Шеренги подровнялись, руки сами вытянулись по швам, шепот стих.

Мы прозвали эту голубоглазую надзирательницу Генеральшей. Как-то во время поверки беременная заключенная упала на пол, ударившись головой об угол стола. Генеральша даже не повела бровью, продолжая монотонно читать список.

Почти две недели прожили мы в этой зоне. И вот однажды на утренней поверке нам с Бетси и несколькими другим женщинам приказали выйти из строя. Когда остальные заключенные разошлись, Генеральша вручила нам отпечатанные бланки и велела предъявить их на вахте в 9.00 утра. Рабочий из кухонной команды, выдававший завтрак, улыбнулся нам:

— Вас освободят, — прошептал он. — Эти розовые бланки выдают при освобождении.

Мы с Бетси недоверчиво уставились на него, потом на наши бумажки. Значит, нас отпускают домой? Свобода?! Все принялись обнимать нас и поздравлять, соседки Бетси по камере плакали. Мы говорили им, что война скоро закончится и их тоже отпустят домой. Все наши вещи мы раздали остающимся в зоне.

Задолго до назначенного времени мы уже выстроились возле деревянного здания администрации. Наконец нас впустили в контору, где наши бланки проверили, поставили на них печать и отдали охраннику. Мы пошли за ним по коридору в следующую комнату. Это хождение от чиновника к чиновнику продолжалось несколько часов: нам задавали вопросы, снимали отпечатки пальцев. Группа заключенных росла. Нас выстроили перед забором из металлической сетки, поверх которой была натянута колючая проволока. Но над головами у нас синело небо Брананта, и мы чувствовали себя частицей свободного мира.

В следующем бараке сидевшая за конторкой женщина в форме выдала мне пакет из плотной коричневой бумаги. Я высыпала его содержимое на ладонь и не поверила своим глазам: мои часы! мамино кольцо! и даже мои деньги! Деньги — это было нечто из области магазинов и трамваев. Мы сможем пойти с деньгами на вокзал, купить два билета до Харлема...

Потом по дорожке между ограждениями и через ворота мы вышли к крытым жестью баракам. Там нам вновь пришлось стоять в очередях, переходить от чиновника к чиновнику, но все это было как во сне. Наконец мы очутились перед высокой перегородкой, и молодая служащая объявила:

— Все ценные вещи сдать в окно «В»!

— Но ведь нам их только что выдали!

— Повторяю: часы, ювелирные изделия, кошельки сдать в окно «В»!

Словно безвольная машина, я отдала все свои ценности. Женщина в форме сгребла их в железную коробку.

— Проходите! Следующая!

Так, значит, нас не освободят? У выхода из барака офицер с багровым лицом велел нам построиться и повел нас через плац мимо бритоголовых мужчин, копавших траншею. Что все это значит? К чему было все это изнурительное выстаивание в очередях? Лицо Бетси было серым от усталости, она спотыкалась на ходу. Миновав еще одно ограждение, мы очутились во дворе, с трех сторон окруженном приземистыми бетонными строениями. Молодая надзирательница в пилотке уже поджидала нас.

— Заключенные — стой! — пролаял красномордый офицер. — Объясните новичкам, фройляйн, назначение карцеров.

— Карцер, — монотонным голосом начала надзирательница, — предназначен для перевоспитания лиц, не желающих выполнять правила лагерного распорядка. Помещения карцера маленькие, для большей эффективности воспитательного процесса руки помещенного в него связываются над головой...

В этот момент двое охранников выволокли из карцера мужчину. Он был еще жив, но без сознания: глаза закатились, голова бессильно болталась...

— Как видите, — равнодушно отметила девушка в пилотке, — не всем по душе такой метод перевоспитания.

Когда прозвучала команда «Марш!», я вцепилась в руку Бетси, чтобы не упасть. Такую жестокость мне трудно было понять и вынести. «Отец Небесный, помоги мне, возьми на Себя эту непосильную для меня ношу!»

Мы пошли следом за офицером между бараками и остановились напротив одного из них. Внутри он мало отличался от покинутого нами в это утро, за исключением того, что здесь имелись койки. Однако сесть нам не разрешили: снова нужно было выстоять перекличку.

— Бетси! — прошептала я. — Как долго все это будет продолжаться?

— Быть может, несколько лет. Но разве есть что-либо лучше, чем вот так провести остаток жизни?

— Что ты хочешь этим сказать? — изумленно уставилась я на сестру.

— Взгляни на этих молодых женщин! Хотя бы на эту девушку в пилотке, что рассказывала нам о карцерах. Корри, если людей можно научить ненавидеть, их можно научить и любить! Мы должны найти способ, как это сделать, сколько бы времени для этого нам ни потребовалось!

Она продолжала увлеченно говорить, совершенно не заботясь о том, слышат нас или нет, и я наконец осознала, что она говорит о наших надзирательницах! Я взглянула на одну из них, сидевшую за столом, и увидела только серый мундир и пилотку. Бетси видела в ней искалеченного человека...

И в который раз я задумалась над тем, что за человек моя сестра, каким неведомым мне путем она идет рядом со мной по этому слишком рациональному миру...

Спустя несколько дней нас с Бетси вызвали к главной надзирательнице для распределения на работу. Одного взгляда на худую и изможденную Бетси было достаточно, чтобы отправить ее шить холщовые платья для заключенных женщин. Нам тоже выдали по такой голубой хламиде с красной полосой — приятное событие после нескольких месяцев вынужденного хождения в одном и том же.

Видимо, я выглядела достаточно крепкой для более трудоемкой работы, и меня направили на завод Филиппе. На самом деле этот «завод» представлял собой всего лишь несколько зданий внутри рабочей зоны. С раннего утра из труб этих цехов валил в жаркое июльское небо Брабанта вонючий черный дым. В цехе, где мне предстояло работать, производилась сборка радиодеталей.

Охранница указала мне мое рабочее место за длинным дощатым столом, почти рядом с дверью, и ушла. Вдоль рядов согнувшихся спин неспешно расхаживали два надзирателя-офицера, мужчина и женщина. Мне нужно было измерять стеклянные стержни и раскладывать их в зависимости от длины. Это была монотонная работа. От жары болела голова. Мне хотелось перекинуться хотя бы словечком с соседями по столу, но единственными звуками в цехе были бряцание металлических деталей и скрип офицерских сапог. Невольно я подслушала разговор.

— На прошлой неделе производительность несколько выросла, — говорил по-немецки офицер человеку с бритой головой и в полосатом рабочем костюме, как я догадалась, бригадиру. — Вы будете поощрены. Однако есть и жалобы на брак! Следует усилить контроль за качеством.

— Если бы нас лучше кормили, господин офицер, — извиняющимся тоном пробормотал бригадир. — После

сокращения рациона я замечаю перемены в поведении людей: они стали сонливыми, менее внимательными.

Его голос чем-то напоминал голос Виллема: глубокий, хорошо поставленный, с едва заметным голландским акцентом.

— Так разбудите же их! Заставьте быть повнимательнее! Уж если на фронте солдатам урезали норму, то этим лентяям...

Офицер осекся на полуслове, перехватив укоризненный взгляд коллеги, и облизнул губы.

— Ну, я это сказал, конечно же, просто для примера. Вы понимаете, что все эти пересуды об уменьшении нормы питания в действующей армии не более чем вранье. Итак, я оставляю вас здесь за главного. Не подводите меня.

И оба офицера вышли из душного цеха. С минуту бригадир провожал их взглядом, медленно поднимая вверх левую руку, потом махнул ею, хлопнув себя по бедру. Тихое помещение взорвалось гулом голосов. Из-под столов появились листы бумаги, книги, клубки ниток и спицы, коробки печенья. Все бросили работу и разбились на группы по всему цеху. Несколько человек окружили меня, посыпались вопросы: кто я? откуда? какие новости с фронта?

Спустя примерно полчаса бригадир напомнил, что нужно выполнять дневную норму. Все расселись по местам.

Бригадира звали, как я узнала, Морман. Раньше он был директором римско-католической школы для мальчиков. Он сам подошел ко мне на третий день, услышав, что я интересовалась работой всей сборочной линии.

— Вы первая из женщин, которая проявила интерес к тому, чем мы занимаемся, — с улыбкой сказал он. — Вам, видимо, любопытно, что в конце концов станет с вашими детальками?

— Да, мне это очень интересно, — сказала я. — Ведь я часовой мастер.

В глазах Мормана появилось новое выражение.

— В таком случае у меня для вас есть более увлекательная работа.

Он отвел меня в противоположный конец цеха, где собирали релейные переключатели: дело тонкое и требующее постоянного внимания, хотя и не такое трудное, как ремонт и сборка часовых механизмов. Новая работа пришлась мне по душе и помогла скрасить одиннадцатичасовую смену.

Для всех в цехе Морман был скорее старшим братом, чем начальником. Я наблюдала за тем, как он постоянно передвигался, давая советы, подбадривая, подбирая несложную работу для слабых и интересную — для энергичных. Мы пробыли в Вугте больше месяца, и лишь тогда я узнала, что его двадцатилетнего сына расстреляли в ту же неделю, когда нас с Бетси привезли в лагерь. Однако личная трагедия не отразилась на отношении Мормана к своим подопечным. Он нередко задерживался возле меня, справляясь о моем настроении, помогал освоить новое для меня дело.

— Дорогая часовых дел мастерица! — как-то раз сказал он, оглянувшись по сторонам. — Вы, похоже, забыли, на кого работаете. Эти реле предназначены для немецких военных самолетов.

С этими словами он выдернул проводок и вывинтил лампу.

— А теперь поставьте их как-нибудь не так, как надо. И не торопитесь, вы уже выполнили норму, а до конца дня еще далеко.

В обеденный перерыв мне хотелось повидаться с сестрой, но покинуть рабочую зону до конца смены не разрешалось. Обед — котел с горячим варевом из крупы или гороха — доставлялся прямо в цех. Пища была

безвкусная, но сытная, и порции больше, чем в Схевенингене, где днем вообще не кормили. Поев, можно было погулять возле цеха, но я предпочитала вздремнуть на свежем воздухе в укромном уголке: ведь подъем производился в пять утра. С окружающих лагерь полей доносились пряные ароматы жаркого лета, навевая воспоминания о прогулках с Карелом по сельским дорожкам...

В шесть вечера нас строили и вели в спальный барак.

Бетси поджидала меня у двери, сгорая от желания поделиться со мной новостями:

— Госпожа Херма, чью внучку увезли в Германию, сегодня позволила мне помолиться вместе с ней! А моя соседка, бельгийка, сказала, что она и ее парень, тоже бельгиец, решили пожениться!

Однажды Бетси сообщила мне новость, касающуюся непосредственно нас самих:

— К нам в пошивочный цех перевели женщину из Эрмело. Когда я ей представилась, она воскликнула: «Еще одна!»

— Что она этим хотела сказать? — встревожилась я.

— Корри, ты помнишь, в тот день, когда нас арестовали, в мастерскую приходил мужчина? Ты была больна, и мне пришлось тебя будить...

Я прекрасно все помнила: и странный бегающий взгляд того незнакомца, и сосущую боль под ложечкой.

— Оказывается, в Эрмело его все знали как облупленного. Он сотрудничал с гестапо с первых же дней оккупации: сперва донес на двух братьев этой женщины, связанных с Сопротивлением, а потом на нее и ее мужа. Через некоторое время провокатора перевели в Харлем, в помощники к Виллемсу и Каптейну. Звали его Ян Вогель.

Меня словно обдало жаром. Я подумала об отце, умершем в больничном коридоре, о прерванной под-

польной работе, о Мэри Италли, арестованной на улице, о наших с Бетси мытарствах. О, попадись мне этот человек сейчас...

Бетси достала Библию и протянула ее мне, но я покачала головой:

— Сегодня читать будешь ты, мне нездоровится.

Я не могла в таком состоянии проводить молитвенное собрание.

Всю ночь я не сомкнула глаз, а на следующий день чувствовала себя совершенно разбитой. К концу недели я дошла до полного упадка духовных и физических сил. Морман спросил меня, в чем дело. Я выложила ему все обстоятельства нашего ареста: мне хотелось рассказать не только Морману, но и всей Голландии, как Ян Вогель предал нас и других людей.

Однако поведение Бетси ставило меня в тупик. Она претерпела не меньше, чем я, но ее почему-то не душила ярость.

— Бетси, — сдавленным шепотом спросила я ее однажды ночью, зная, что она тоже не спит, — Бетси, неужели ты совсем не думаешь о Яне Вогеле?

— О да, Корри! — ответила сестра. — Я много думаю о нем и молюсь за него: ведь он, наверное, ужасно страдает.

Я надолго умолкла, уставившись в потолок темного барака, в котором сопели, вздыхали и ворочались с боку на бок сотни измученных женщин. И вновь у меня возникло ощущение, что моя сестра, с которой я прожила вместе всю жизнь, принадлежит к миру иного порядка вещей. Не следует ли мне понимать ее так, что и я виновата не меньше, чем Ян Вогель? Ведь в глазах Всевидящего Господа и на мне лежит тяжелый грех, потому что я убила Вогеля в своем сердце и своим языком.

— Господи! — прошептала я. — Прости меня за нанесенный этому человеку вред, а я прощаю его. Благослови, Господи, Яна Вогеля и его семью!

И едва я произнесла эти слова, как тотчас же крепко уснула...

Разбудил меня свисток, звавший всех на поверку. Эти кошмарные общие построения затягивались порой на несколько часов. За малейшее нарушение режима весь барак лишался прогулки или вообще оставался без обеда. А за опоздание на вечернее построение нас поднимали на следующее утро уже в четыре часа и заставляли стоять по стойке смирно до половины шестого. Ноги подкашивались, немела спина, но мы с Бетси сжимали друг другу руки в благоговейном восторге, наблюдая, как золотисто-розовая заря и птичий гомон наполняют неизъяснимым очарованием свежий летний воздух.

В 5.30 нам выдавали черный хлеб и «кофе», горький и горячий, после чего разводили по отрядам и вели в рабочую зону. Я всегда с нетерпением ожидала этого момента, потому что мы шли по дорожке вдоль рощицы, отделенной от лагеря металлической сеткой, и мимо мужской зоны, где многие женщины пытались угадать в массе бритых голов и полосатых курток своих мужей и сыновей.

Я радовалась тому, что вновь нахожусь среди людей. В одиночной камере Схевенингена мне и в голову не приходило, что наслаждаться обществом знакомых — это еще и разделять их заботы и печали. Мы все тревожились за мужчин: дисциплина в их зоне была значительно жестче. Почти каждый день оттуда слышались выстрелы...

Рядом со мной на сборке реле работала рьяная коммунистка по фамилии Флор. Незадолго до ареста им с мужем удалось спрятать двоих своих детей у друзей,

но Флор все равно очень переживала за них и мужа, больного туберкулезом. Муж ее работал в соседнем цехе, и супругам иногда удавалось в обеденный перерыв поговорить через сетку. Флор ждала к сентябрю ребенка, но свою пайку хлеба отдавала мужу. Ее худоба пугала меня, и я несколько раз делилась с ней хлебом, но и его она откладывала для мужа.

Никто из заключенных не был свободен от волнений и тревог, но в цехах завода нередко звучал веселый смех. Передразнивали чванливого и хвастливого младшего лейтенанта, играли в жмурки, пели вполголоса, пока не раздавался сигнал тревоги.

— Плотные облака на горизонте!

Сигнал подавал первый, кто замечал подходящего к цеху офицера. Все моментально занимали свои места, и вновь было слышно лишь деловитое бряцание деталей и инструментов.

Однажды надзирательница оказалась на пороге прежде, чем отзвучал сигнал тревоги. Толстая немка отнесла слово «плотные» на свой счет и орала на нас, густо покраснев, минут пятнадцать, после чего еще и лишила всех послеобеденной прогулки. Чтобы избежать подобной ситуации в будущем, мы придумали новое кодовое слово: «пятнадцать», например: «Я собрала пятнадцать реле».

После обеда все предавались своим мыслям. Я, например, прикидывала, сколько осталось нам с Бетси дней до освобождения. Мне казалось, что это произойдет первого сентября. Флор как-то сообщила, что за преступления, связанные с продуктовыми карточками, больше полугода не дают, а если нас наказали за это, то именно первого сентября и истекал срок нашего заключения.

— Корри, — сказала мне однажды вечером Бетси, когда я с торжествующим видом объявила ей, что по-

ловина августа уже прошла. — Ведь мы же ничего не знаем наверняка.

У меня было такое чувство, что сестру вовсе не волновало, когда нас освободят. Она невозмутимо штопала мое платье и выглядела точно так же, как и дома, за обеденным столом, где при свете лампы частенько приводила в порядок мою одежду. Казалось, вокруг нет ни железных коек, ни голого пола из сосновых досок. Бетси в первый же день в Вугте пришила к воротнику своего платья дополнительные крючки, чтобы не было видно шнурка от мешочка с Библией, и я поняла, что она намерена читать ее здесь всем нуждающимся, как готовила похлебку для голодных в Харлеме.

Я никак не могла расстаться со своей надеждой и даже нацарапала в углу стола ряд чисел — вплоть до заветной даты.

И вдруг, совершенно неожиданно, обстоятельства сложились так, что нам вроде бы уже и не нужно было ждать первого сентября. Прошел слух, что бригада принцессы Ирены продвигалась из Франции в Бельгию. Эта бригада была частью голландских вооруженных сил, отступивших во время пятидневной войны в Англию. Теперь она хотела взять реванш.

Охрана лагеря заметно нервничала, нещадно избивала замешкавшихся и опаздывавших на поверку. Даже «краснофонарная команда» вынуждена была подтянуться. Эти молодые женщины, проститутки из Амстердама, оказавшиеся в лагере за заражение венерическими болезнями немецких солдат, прежде вели себя с охранниками довольно фамильярно. Но теперь и им приходилось часами стоять на плацу по стойке смирно.

Все чаще звучали выстрелы в мужской зоне. Однажды после обеда, когда колокол возвестил конец перерыва, на скамье рядом со мной не появилась коммунистка

Флор. Буханка черного хлеба лежала на столе. Ее уже некому было передавать: мужа Флор расстреляли.

Охваченные надеждой и страхом, мы жили только слухами: «Бригада уже на голландской границе. Бригада разбита. Бригада вообще не высаживалась на континент». Женщины обступали по вечерам нашу с сестрой койку (теперь мы спали рядом, потому что число заключенных с каждым днем росло) и просили почитать Библию.

Утром первого сентября Флор родила девочку. Ребенок прожил всего четыре часа.

Спустя несколько дней нас разбудил грохот далеких взрывов: «Что это? Бомбардировка? Артобстрел? Бригада уже на подступах к Брабанту, какие могут быть сомнения на этот счет! И сегодня же наши войска будут в Вугте!»

Брань и угрозы охраны, прибежавшей на шум, мало подействовали на нас. Мы уже думали о том, что сделаем в первую очередь, когда вернемся домой.

— Цветы, конечно, погибли, — сказала Бетси, — но мы возьмем у Нолли. Мы вымоем окна, и в доме будет солнечно!

В цехе Морман пытался охладить горячие головы.

— Это не бомбы, — сказал он. — И не снаряды. Немцы взрывают мосты. Это означает, что они готовятся к нападению, но не более того.

Его слова подействовали, но ненадолго: взрывы ухали все ближе и ближе. Мы воспряли духом. Вскоре, однако, у нас заложило уши.

— Откройте рот! — крикнул на весь цех бригадир. — Так вы сохраните ваши барабанные перепонки.

Обедали мы при закрытых окнах и дверях. Еще около часа работали, точнее, делали вид, что работаем, а потом поступило приказание возвращаться в жилые бараки.

Бетси уже поджидала меня у входа.

— Корри, ведь это наши? Они нас освободят?

— Потерпи, сестренка, я сама ничего не знаю. Но почему мне так страшно?

По громкоговорителю в мужской зоне передали команду построиться. Мы метались вдоль забора, прислушиваясь к выкрикам, однако разобрать слова было трудно.

И вдруг неожиданный страх объял нас. Над лагерем воцарилась мертвая тишина. Мы обменивались взглядами и даже боялись дышать.

Прогремел залп. Второй, третий... В течение двух часов было расстреляно более семисот заключенных-мужчин.

Ночью в нашем бараке никто не спал, утренней поверки не было. Только в шесть утра нам было приказано собрать вещи. Мы положили в наволочки привезенные из Схевенингена зубные щетки, нитки с иглой, пузырек с витаминами из посылки от Красного Креста, голубую кофту Нолли — единственную вещь, которую мы принесли с собой из карантинного лагеря два с половиной месяца назад. Мешочек с Библией я надела сама — Бетси так исхудала, что у нее на спине Библия была слишком заметна.

Мы построились и промаршировали к лагерному плацу, где солдаты выдавали одеяла с грузовиков. Нам с Бетси достались два замечательных мягких одеяла: мне — белое с голубыми полосками, а Бетси — белое с красными. Наверное, они принадлежали раньше какому-то состоятельному семейству.

Эвакуация лагеря началась около полудня. Мы шли между серыми бараками, мимо бункеров, опутанных рядами колючей проволоки. Наконец мы вышли на грязную лесную дорогу, ту самую, по которой нас вели сюда дождливой июньской ночью. Бетси повисла на

моей руке, тяжело дыша. С ней так было всегда, когда она ходила быстрым шагом на длинные расстояния.

— Пойдем!

Последние четверть мили я буквально тащила Бетси на себе. Наконец нас остановили и велели построиться лицом к железной дороге, которая возвышалась на насыпи над тысячью женских голов. Дальше тянулись мужские ряды.

Я сперва подумала, что наш поезд не пришел, но вскоре сообразила, что товарные вагоны предназначены именно для нас. Мужчины первыми начали забираться в них, подтягиваясь на руках и подсаживая друг друга. Паровоза не было видно, вагоны с пулеметами на крышах тянулись по обе стороны, куда хватало глаз. Вдоль вагонов, с лязгом откатывая двери, шли охранники.

Вот черное нутро грязного и душного вагона разверзлось перед нами. Вцепившись в наволочки и одеяла, мы с Бетси вскарабкались внутрь этого хлева на колесах, и я увидела в углу какую-то темную грудку: это были буханки черного хлеба. Путь нам предстоял не близкий.

Вагон мог вместить не более тридцати-сорока человек, но охранники, орудуя прикладами и яростно ругаясь, впахнули человек восемьдесят. Нас оттеснили вглубь, прижали к стенке. Наконец дверь закрылась, лязгнул засов. Женщины плакали, некоторые теряли сознание, но, стиснутые со всех сторон, оставались на ногах. Мы поняли, что так ехать невозможно, и нашли выход: уселись на пол, обхватив друг друга ногами, как на санках.

— Ты знаешь, за что я благодарна Господу? — я даже вздрогнула от нежного голоса Бетси, так странно звучащего в этом всеобщем безумии. — Я рада, что наш отец сейчас на небесах!

«Отец! Прости меня за то, что я посмела убиваться по тебе...»

В вагоне становилось все жарче. Моя соседка принялась выковыривать сучок из гнилой доски. Наконец ей это удалось. Воодушевленные ее успехом, за дело взялись все, сидевшие возле стенки, и вскоре повеяло спасительной прохладой. Прошло еще несколько часов. Состав дернулся, немного проехал и остановился. Остаток дня и весь вечер он то трогался внезапно с места, то так же резко тормозил. Один раз, когда пришла моя очередь дышать возле дырочки, я увидела при свете луны путевых рабочих, тащивших искривленный рельс: видимо, путь впереди был разрушен. Я передала всем эту новость. Может быть, немцы не успеют починить его? Может быть, мы задержимся на территории Голландии и нас освободят?

На своей руке я ощущала голову Бетси. Сидевшая позади меня женщина немного отодвинулась, чтобы дать нам возможность сесть поудобнее. Я даже время от времени дремала на ее плече. Один раз мне приснилось, что разыгралась гроза и в окна комнаты тети Янс стучит град. Я открыла глаза: действительно барабанил град. Я слышала, как он колотит по стенке вагона. Все проснулись. Вот новый шквал градин хлестнул по доскам. С крыши вагона ударил пулемет.

— Это пули! — закричал кто-то. — Нас обстреливают!

И вновь словно кто-то швырнул горсть мелких камней в стенку вагона, а в ответ опять затарахтел пулемет. Неужели нас освободят?! Но стрельба затихала и вскоре вообще прекратилась. Около часа состав стоял на месте, затем вновь пополз вперед.

На рассвете кто-то из женщин крикнул, что мы проезжаем границу в городке Эмерих.

Нас привезли в Германию.

# Равенсбрюк

Еще двое суток продолжалось наше невероятное путешествие в глубь страны, которой мы так боялись. Время от времени по рукам шла буханка хлеба. Но воздух в вагоне стал настолько тяжелым, что мало кто был в состоянии есть.

Сильнее тесноты и вони всех мучила жажда. Несколько раз во время остановки дверь открывалась и охранник передавал ведро с водой. Но люди настолько обессилели, что перестали думать о других: тот, кто сидел ближе к двери, не оставлял ни капли соседям.

Наконец на утро четвертого дня пути состав вновь замер, и дверь откатилась в сторону на всю ширину. Мы на четвереньках поползли к проему и вывалились наружу. Впереди виднелось голубое озеро. На его противоположном берегу, среди платанов, возвышался шпиль церкви.

Женщины, которые были покрепче, принесли несколько ведер воды из озера, и мы жадно припали к ним пересохшими и распухшими губами. Состав стал заметно короче, исчезли вагоны с мужчинами. Охранять тысячу женщин оставили горстку совсем молоденьких солдат, почти подростков. Да больше, в общем-то, и не требовалось: мы с трудом стояли на ногах.

Спустя некоторое время охранники построили нас в колонны и погнали вперед по дороге вдоль берега озера, а затем вверх по склону холма. Я боялась, что Бетси не одолеет крутого подъема, но вид деревьев и неба, видимо, придал ей сил и она даже делала попытки помочь мне. По пути нам встречались местные жители, пешие и на телегах. Особенно понравились мне розовощекие, здоровые дети. Они глядели на нас с явным интересом, в отличие от взрослых, отворачивавших головы, когда мы приближались к ним.

С гребня холма мы увидели наш лагерь: ряды серых барачков за бетонными стенами и сторожевыми вышками показались мне безобразным шрамом, уродующим зеленый ландшафт. Труба, торчавшая посередине лагеря, и серый дым над ней лишь усугубляли это впечатление.

— Равенсбрюк! — сдавленно прокатилось по рядам заключенных название лагеря. Мы слышали об этом проклятом крематории еще в Харлеме... Я отвернулась от коптящей голубое небо трубы. Нет, я не стану смотреть на этот дым, тающий в сиянии дня. Когда мы с Бетси спускались с холма, я почувствовала, как постукивает в спину Библия. Благая весть от Бога?! Уже можно было различить нарисованные на стене череп и перекрещенные кости, предупреждающие о пропущенном по колючей проволоке токе высокого напряжения. Массивные железные ворота распахнулись, колонна вошла в лагерь. Вдоль стены тянулся ряд водопроводных кранов. Мы бросились к ним, торопясь смыть с себя зловоние вагонов. Женщины-надзирательницы в синей форме тотчас же с бранью принялись отгонять нас плетками.

Лагерь был гораздо мрачнее прежнего. В Вугте мы могли хотя бы мельком видеть поля и деревья, а здесь вокруг был только бетон и колючая проволока.

Колонна остановилась. Под огромным брезентовым навесом не менее акра земли было покрыто прелой соломой. Мы с Бетси присмотрели местечко поближе к краю и с облегчением сели, но тотчас же вскочили как ужаленные. Вши! Солома буквально кишела ими. Мы немного постояли в замешательстве, но потом все-таки расстелили одеяла поверх шевелящейся трухи и сели на них.

Некоторым женщинам удалось захватить с собой из Вугта ножницы, и все начали подстригать друг другу волосы. Дошла очередь и до нас. Конечно же, длинные волосы — недопустимая роскошь в подобном месте, но я не смогла сдержать слез, когда отрезала каштановые локоны Бетси.

Ближе к вечеру в дальнем конце навеса началось какое-то волнение. Цепь охранников в форме СС надвигалась на нас, грубо выталкивая женщин из-под навеса. Мы вскочили на ноги, подхватив свои одеяла, но цепь солдат вдруг остановилась в нескольких ярдах от нас. Мы растерянно озирались, переминаясь с ноги на ногу и гадая, в чем дело, почему нас сгоняют с соломы. Оказалось, что нам предстоит ночевать на шлаковой площадке. Мы с Бетси расстелили на ней одеяло, легли, прижавшись друг к другу, и накрылись вторым одеялом.

— Ночь темна, и дом мой далек... — негромко запела Бетси, и все вокруг подхватили: — Укажи мне мой путь...

Несколько раз мы просыпались от ударов грома и потоков дождя. Одеяла насквозь промокли, мы оказались в луже. А к утру вся площадка превратилась в болото; руки, одежда и лица стали черными.

Не успели мы отжать одеяла, как поступила команда строиться. На завтрак мы получили какой-то горький жиденский напиток кофейного цвета с ломтиком

черного хлеба — и ничего больше. На обед нам выдали по вареной картофелине и черпаку баланды из репы.

Всю первую половину дня мы простояли навтыяжку на том же плацу, на котором провели ночь. Нам хорошо были видны ряды колючей проволоки на верхней кромке высокой стены. Целых два дня воспитывали нас подобным образом, оставляя на ночь под открытым небом. Хотя дождя больше не было, земля и одеяла не просохли. Бетси начала кашлять. Я достала из наволочки голубую кофту, укутала сестру и дала ей несколько капель витаминизированного масла, оставшегося от посылки Красного Креста. Но к утру у нее разболелся живот.

Вечером третьего дня, когда мы вновь укладывались спать под звездами, поступил приказ идти в санпропускник. Через десять минут, пройдя по длинному коридору приземистого бетонного здания, мы очутились в ярко освещенном зале, где нашим глазам предстала удручающая картина: одна за другой женщины подходили к столу, за которым сидели несколько офицеров, бросали свои одеяла и наволочки в общую кучу, потом раздевались у всех на виду догола, складывали одежду в другую кучу и шли мимо десятка охранников в душевую комнату. Оттуда они выходили уже в лагерной одежде и грубых башмаках. Ничего другого заключенным лагеря иметь не полагалось.

Но Бетси нужна теплая кофта! Ей необходимы витамины! А главное, нам обеим никак нельзя без Библии! Положение казалось безвыходным. Я порылась в наволочке, нащупала пузырек с маслом и зажала его в руке. С остальными вещами придется, к сожалению, расстаться... Вдруг, когда до стола комиссии оставалось всего несколько шагов, Бетси побледнела и пошатнулась, схватившись руками за живот. Мимо проходил офицер, я по-немецки попросила его проводить

нас в туалет. Даже не взглянув на меня, он раздраженно кивнул головой в сторону душевой комнаты. Мы с Бетси робко подошли к двери в большое, пахнущее сыростью помещение.

— Скажите, пожалуйста, — обратилась я к охраннику возле входа, — где здесь туалет?

— Пользуйтесь отверстием для стока воды, — буркнул он и пропустил нас внутрь, захлопнув дверь.

Мы остались в предбаннике одни: заключенных пускали сразу партиями по пятьдесят человек, а нужного количества, видимо, еще не набралось. В углу лежала кипа лагерной одежды, рядом были свалены сломанные скамейки.

— Кофту, живо! — прошептала я Бетси, стягивая через голову шнурок с мешочком, в котором лежала Библия.

Завернув пузырек и Библию в кофту, я засунула ее под скамейки. А спустя десять минут мы оказались в душевой и с наслаждением подставили искусанные насекомыми тела под струи холодной воды, ощущая себя не обобранными до нитки, а обладательницами несметного богатства. Потом, мокрые, мы долго выбирали себе платья, пока не нашли подходящие: просторные, с длинными рукавами, чтобы можно было вниз надеть кофту. Вытащив из тайника заветный сверток, я засунула его за пазуху и решительно направилась к двери: будь что будет!

Выпуская из душевой, охранник обыскал шедшую перед нами женщину, а также Бетси. Ко мне же и не прикоснулся! При выходе из здания тоже обыскивали — на этот раз надзирательницы. Я невольно замедлила шаг, но старшая охранница грубо подтолкнула меня в спину:

— Проходи, не задерживай остальных!

Я не заставила ее подгонять меня дважды.

Вот так в то утро мы с Бетси благополучно принесли в барак № 28 не только Библию, но и новое свидетельство могущества Того, Кто дал ее миру.

На указанном нам месте уже лежали три женщины. Впятером мы могли уместиться лишь поперек нар. Бетси, натянув кофту, вскоре заснула. Я же еще долго лежала с открытыми глазами, наблюдая за скользвившим по стене лучом прожектора и прислушиваясь к голосам охранников, доносившимся снаружи...

Подъем и утренняя поверка в Равенсбрюке производилась на час раньше, чем в Вугте. В 4.30 мы уже должны были стоять по стойке смирно в зябкой предрассветной мгле, по десять человек в шеренге. Наш барак находился в карантинной зоне. Рядом, возможно для острастки, располагался штрафной бункер, из которого с утра до вечера доносились дикие крики. Хотелось заткнуть уши, чтобы не слышать их, но руки нужно было держать по швам.

С каждым днем становилось все труднее сохранять присутствие духа, даже в бараке. Голые стены, убогость и ощущение безысходности отупляли и подтачивали силы. Но одновременно в нас нарастало и понимание нашей с Бетси миссии здесь. Каждую свободную минуту мы использовали для чтения вслух Библии, и круг слушателей изо дня в день расширялся. Чем сильнее сгущался окружавший нас мрак, тем ярче возгоралось в нем Слово Божье.

«Кто отлучит нас от любви Божьей: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?.. Нет, ничто не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем»<sup>8</sup>.

Когда Бетси произносила эти слова святого апостола Павла, лица слушавших озарялись светом. Порой, когда я извлекала Библию из мешочка, мои руки дро-

жали от волнения: столь загадочной она мне теперь казалась. Я всегда верила, что все события, описанные в Библии, происходили на самом деле. Но теперь я испытывала от соприкосновения с этой величайшей Тайной совершенно новое чувство. Библейская действительность приблизилась к нам, обрела реальные лица и голоса. И солдаты так же грубо обращались с Иисусом, издевались над Ним, как и наши охранники над нами...

По пятницам нас подвергали унижительному медицинскому осмотру. Мы ожидали этой процедуры в холодном сыром коридоре, но пытаться хоть как-то согреться нам запрещалось. Мы стояли голые по стойке смирно под насмешливыми взорами ухмыляющихся солдат. Я не могла понять, какое удовольствие глядеть на худые как палки ноги и распухшие от голода животы: на мой взгляд, нет ничего более жалкого, чем зрелище неухоженного человеческого тела. Не видела я никакого смысла и в раздевании нас догола, потому что в кабинете проверяли только горло, зубы и кожу между пальцами на руках и ногах. На этом осмотр заканчивался, и мы через тот же сырой коридор шли одеваться.

Но именно в такое утро, дрожа в очереди к врачу, я вдруг вспомнила, что Иисус был распят на кресте раздетым! В Великую Страстную Пятницу! Как же раньше мне это не приходило в голову?

— Бетси! — шепнула я сестре, стоявшей в очереди передо мной. — Ведь Его они тоже раздели...

По ее острым лопаткам под синеватой кожей пробежала дрожь.

С каждым днем ожидание перевода в постоянный барак становилось все томительнее, и, чтобы как-то скрасить его, все предавались сладким грезам: на новом месте все наладится, нам выдадут по толстому

одеялу, выделяют по отдельной кровати, — в общем, каждый представлял себе будущую жизнь в меру своих самых острых потребностей. Я, например, мечтала об амбулатории, где Бетси будут регулярно выдавать лекарство от кашля и витамины: наш пузырек быстро пустел, потому что Бетси делилась маслом с каждым, кто хоть раз чихнул.

Во вторую неделю октября нас наконец перевели в жилую зону. Пройдя по гаревому плацу и узким дорожкам, колонна замерла перед длинным серым баракком № 28.

— Заключение 66729! Заключение 66730!

Мы с Бетси вышли из строя: в Равенсбрюке никого не называли по фамилии. Следом за дневальным мы вошли в свое новое жилище — длинный барак с рогожами вместо выбитых стекол. Сначала мы очутились в большом рабочем помещении, где не менее двухсот женщин вязали серые шерстяные носки, а затем через дверь справа от входа вошли в спальное отделение, сразу же неприятно поразившее нас полумраком и затхлым воздухом. Вместо долгожданных отдельных кроватей тянулись в три яруса дощатые нары, разделенные редкими узкими проходами. Не без труда мы протиснулись боком к своему месту в середине отделения и влезли на нары второго яруса, покрытые прелой соломой. Сесть и распрямиться было невозможно, поэтому мы легли, сдерживая тошноту, на вонючую подстилку и стали прислушиваться к разговору своих соседей.

Вдруг я почувствовала укус, потом второй — и вскочила, больно ударившись головой о доски.

— Бетси! — закричала я. — Бетси, здесь все кишит блохами!

Мы выползли в проход.

— Бетси, как же можно здесь жить?

— Укажи нам, укажи, как нам быть! — зашептала Бетси.

Я поняла, что она молится.

— Корри! У Него есть ответ на все наши вопросы!

Убедившись, что поблизости нет надзирателей, я достала Библию.

— Это из Первого послания апостола Павла фессалоникийцам, — сказала я. — Вот этот отрывок: «Утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем...»<sup>9</sup>

Казалось, что это написано специально для Равенсбрюка.

— Читай дальше! — сказала Бетси. — Ведь это еще не все...

«Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе...»<sup>10</sup>

— Вот оно, Корри! Вот Его ответ: «За все благодарите!» Вот что мы можем сделать: прямо сейчас же начнем благодарить Господа за все в этом новом бараке!

Я растерянно посмотрела сперва на нее, потом на затхлое мрачное помещение и решила уточнить:

— За что именно, например?

— Например, за то, что мы оказались здесь вместе.

— А ведь верно! Слава Тебе, Господи!

— И за то, что ты сейчас держишь в руках!

— О, да! Господи, благодарю Тебя за то, что нас не обыскали. Теперь все женщины этого барака смогут услышать Твое Слово!

— Вот именно, — кивнула Бетси. — И за то, что здесь так много людей: ведь чем ближе мы друг к другу, тем больше можем помогать!

Сестра выжидающе взглянула на меня:

— Корри, что же ты молчишь?

— О, да, Бетси, — спохватилась я, — благодарю Тебя, Господи, за эту тесноту, духоту и убогость...

— И за блох, что Ты послал нам, — светлея лицом, безмятежно продолжала моя сестра.

За блох? Ну, это уже слишком!

— Бетси, мне трудно испытывать благодарность за такой «подарок»...

— «За все благодарите!» — парировала Бетси. — А не только за хорошее. Блохи — неотъемлемая часть обители, куда Господь временно поместил нас.

Я со вздохом оглянулась на окружавшие нас со всех сторон нары и не стала спорить. Но на сей раз я была уверена, что Бетси не права...

Женщины начали возвращаться в барак в седьмом часу вечера, потные и грязные после тяжелого подневольного труда. Как сказала нам соседка по нарам, это здание было рассчитано на четыреста человек. Теперь же в нем ютилось не менее полутора тысяч заключенных, и при этом каждую неделю прибывало пополнение из Польши, Франции, Австрии и Голландии: немцы вынуждены были вывозить рабочую силу в глубь Германии.

На наших нарах вместо четырех человек спали девять. На весь барак приходилось всего восемь переполненных зловонной жижей уборных, добраться до которых в такой тесноте было далеко не просто. Среди полуголодных и обозленных людей часто вспыхивали ссоры и стычки.

Одна из них началась среди ночи из-за открытого окна: кто-то замерзал, а кто-то задыхался. Проснулся весь барак.

— Господь Иисус! — сжав мою руку, громко произнесла Бетси. — Ниспошли покой на это место! Здесь так редко молятся. Но там, куда Ты нисходишь, не должно быть вражды.

Постепенно перебранка стихла.

— Давайте поменяемся местами! — предложил в тишине голос с сильным скандинавским акцентом. — Ложитесь на мое место, а я лягу у окна.

— И добавьте своих блох к моим, — последовал насмешливый ответ. — Нет уж, благодарю покорно.

— А я предлагаю оставить окна открытыми только наполовину, — вмешался кто-то. — Тогда мы лишь наполовину замерзнем и наполовину задохнемся.

Раздался общий смех, и я подумала, что у всех этих женщин есть причина поблагодарить Господа — за то, что в барак № 28 поместили Бетси.

Свисток поднял нас в 4.00. Все вскочили с нар и кинулись в центральный барак, чтобы получить порцию хлеба и кофе, но последним ничего не досталось.

Утренняя поверка проводилась на широком плацу. Здесь собрались заключенные из нескольких барачков — всего около 35 000 человек. Мы стояли навтыжку при свете фонарей, и ноги немели от холода. После переключки нас распределили по бригадам.

Мы с Бетси попали в бригаду, которая работала на заводе «Сименс». «Бригада Сименса», состоящая из нескольких тысяч заключенных, вышла через железные лагерные ворота под несколькими рядами колючей проволоки и оказалась в другом мире: под ногами была трава, над головой — небо, а впереди — бескрайний горизонт. Когда мы проходили мимо маленького озера, начало всходить солнце и золотой цвет осенних полей наполнил наши сердца теплом и радостью.

Однако работа на заводе была сущим адом. Мы с Бетси должны были толкать тяжелую вагонетку и грузить на нее металлические пластины, а потом везти их в производственный цех. Рабочий день длился одиннадцать часов. Но зато у нас был перерыв на обед:

давали баланду и немного вареного картофеля. Те же, кто работал в лагере, не получали дневного питания.

После работы мы едва передвигали ноги. Конвойные ругались и подгоняли нас, но мы с трудом тащились обратно в лагерь. Я заметила, что местные жители смотрели на нас с сочувствием.

Возвратившись в лагерь, мы выстаивали длинную очередь, чтобы получить миску баланды. После этого мы с Бетси отправлялись в спальный барак, в дальнем углу которого проводились наши ежевечерние богослужения. В бараке не было освещения, и только в этом месте горела тусклая лампочка. Здесь собрались женщины: на этот раз их было больше, чем когда-либо.

Богослужения в бараке № 28 не были похожи ни на одно богослужение в мире. Здесь можно было услышать чтение из Магнификата на латыни, протестантские гимны и православные песнопения. Нары скрипели и прогибались под тяжестью множества женщин.

В конце богослужения я или Бетси открывали нашу Библию. Поскольку голландский язык знали немногие, то мы переводили на немецкий, и животворящие слова передавались дальше на французском, польском, русском, чешском и где-то в задних рядах снова слышался голландский.

Эти вечера под тусклой лампочкой казались нам озаренными небесным светом. Я вспоминала Харлем с его церквями, окруженными коваными решетками и не менее прочными барьерами своих учений. И я снова убедилась в том, что истина Христова во мраке светит еще ярче и объединяет разных людей.

Сначала наши собрания проводились с большими предосторожностями. Но постепенно мы становились смелее: никто из надзирателей не удосужился про-

верить, чем занимаются заключенные в бараке № 28. И мы не могли понять причину такого небрежения.

Еще одной необъяснимой странностью было то, что витаминные капли в пузырьке не кончались, хотя кроме Бетси ими пользовались все обитатели барака. Мне было жаль делиться лекарством с другими — ведь Бетси слабела с каждым днем. Но как можно было сказать «нет» глазам, горящим в лихорадке, и рукам, дрожащим от озноба? Я пыталась экономить капли для самых слабых, но и их были десятки...

— Помнишь, в Библии говорится о вдове из Сарепты Сидонской, у которой в кувшине не переводилось масло? — спросила Бетси.

Она открыла Библию и прочитала: «Мука в кадке не истощалась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое Он изрек чрез Илию»<sup>11</sup>.

В Библии рассказывается о многих чудесах, совершавшихся тысячелетия назад, и не так трудно в них поверить, но совсем другое дело — поверить в чудо, которое происходит сейчас с нами.

Много раз я пыталась найти какое-то объяснение. Я лежала на соломе рядом с Бетси и шептала:

— А может быть, из пузырька выходят только молекулы, а потом, соприкасаясь с воздухом, они расширяются...

— Не трудись объяснить это, Корри, — засмеялась Бетси, — а просто прими это как чудо, которое даровал нам Господь.

И вот как-то раз, когда мы стояли в очереди за вечерней порцией баланды, к нам подошла Майен — голландка, с которой мы познакомились еще в Вугте:

— Посмотрите, что у меня есть! — тихо сказала она.

Майен работала в госпитале, и иногда ей удавалось утащить что-нибудь полезное — кусок газеты, чтобы

заклеить разбитое окно, или хлеб, оставленный медсестрой. В этот раз она показала наполненный чем-то полотняный мешочек.

— Дрожжи! — прошептала я и прикрыла рот рукой.

— Да! Там было несколько банок, и я отсыпала по-немногу из каждой.

Когда мы вернулись в спальный барак, я вытащила из-под соломы наш пузырек. Но, к моему изумлению, в нем не было ни капли масла...

В первых числах ноября заключенным выдали пальто. Наши с Бетси были сшиты в России. Мы больше не работали на заводе: скорее всего, он пострадал во время одной из бомбежек, отголоски которых мы слышали каждую ночь.

Теперь я и Бетси работали в лагере: мы должны были выравнивать полоску земли возле лагерной стены. Это была работа не из легких. Иногда, поднимая лопату, я чувствовала колющую боль в сердце, а по ночам мне сводило ноги. Но еще труднее было Бетси. Как-то после дождя земля была мокрая и тяжелая. Бетси едва могла поднять лопату и все спотыкалась.

— Шнель! — кричала конвоирша. — Ты что, не можешь работать быстрее?!

Почему они всегда так орут? Неужели они не могут говорить, как нормальные люди? Я медленно выпрямилась, пот струился по моей спине. Я вспомнила, где я впервые услышала этот надрывный истерический голос. Ну конечно! Радио в комнате тети Янс. Этот голос звучал еще некоторое время после того, как Бетси выключала приемник.

— Работай быстрее! Ленивая скотина!

Конвоирша вырвала лопату из рук Бетси и стала издевательски демонстрировать перед охранниками и заключенными то небольшое количество земли, которое Бетси была способна поднять.

— Взгляните-ка! Какие тяжести мадам баронессе приходится поднимать! Бедняжка, конечно, перетрудилась!

Охранники и даже некоторые из заключенных засмеялись. И ретивая конвоирша начала изображать, как работает Бетси. В этот раз в конвое были мужчины, и наши надзирательницы испытывали особое оживление.

Снова грянул хохот. Я почувствовала, как во мне разгорается страшный гнев. Конвоирша была молодая и здоровая — как можно смеяться над пожилой и немощной женщиной?

Но неожиданно Бетси сама рассмеялась:

— Вы правильно меня изображаете. Но уж лучше я буду хоть так копать, а то мне вовсе придется остановиться.

Конвоирша стала малиновой от злости.

— Это мне решать, когда тебе остановиться!

Она выхватила кожаный ремень и с размаху хлестнула Бетси по груди и шее. Не соображая, что делаю, я сжала свою лопату и бросилась на конвоиршу.

— Корри! — Бетси схватила меня за руку, прежде чем кто-либо успел что-то понять. — Корри! Прошу тебя, копай.

Конвоирша презрительно швырнула лопату. Я подхватила ее как во сне. На воротнике Бетси появилась алая полоска. Она закрыла шею рукой.

— Не надо смотреть, Корри, смотри лучше на Иисуса.

С середины ноября начались проливные дожди, и на стенах внутри барака появились мелкие капельки влаги. Мы промерзали до костей.

Во время утренних поверок мы стояли по щиколотку в грязи и воде — нам не разрешалось обходить лужи. В бараке стоял удушающий запах гниющей обуви и сырого белья. Бетси начала кашлять кровью,

и мы отправились в госпиталь на медицинский осмотр. Но термометр показал только 37,5, а этого было недостаточно, чтобы попасть в палату. Увы! Мои мечты относительно медсестры и амбулатории при каждом бараке не оправдались. В госпитале была одна огромная палата, в которую собирались больные со всего лагеря, а те, кому не хватало места, должны были ждать под проливным дождем. Госпиталь произвел на меня ужасное впечатление. Бетси становилось все хуже и хуже, и нам пришлось ходить на осмотр еще много раз.

Эта огромная палата не производила на мою сестру такого удручающего впечатления, как на меня. Для нее это было место, как, впрочем, и любое другое на земле, где она могла рассказывать людям о Христе. Где бы она ни была — на работе, в очереди за супом или в спальном бараке, Бетси везде говорила об одном — о близости Господа и о Его промысле в нашей жизни. И чем слабее становилась она, тем крепче делалась ее вера.

Однажды термометр показал нужную температуру. Нам пришлось выстоять еще одну очередь в ожидании медсестры, которая увела Бетси в палату. Я стояла в дверях и смотрела ей вслед, а потом медленно побрела обратно.

Я вошла в барак, и он напомнил мне огромный муравейник: некоторые уже спали, а все остальные были заняты своими делами — стояли в очереди в туалет, ловили вшей друг у друга. Я пробралась в дальний угол барака, где обычно проходили богослужения. Во время наших походов в госпиталь Библию читала миссис Уилмейкер — кроткая милая женщина, католичка из Гааги. Она могла переводить с голландского на немецкий, французский, латинский и греческий. Служба уже закончилась, и женщины окружили меня с расспросами о Бетси.

В это время выключили свет, и все стали расходиться. Я протиснулась к центральным нарам и полезла через тех, кто уже был на месте. Но теперь вместо брани и проклятий в темноте были слышны слова: «простите», «извините», «ничего-ничего» и т. д.

Я нашла свое место и улеглась. Стиснутая людьми со всех сторон, я никогда еще не испытывала такого безнадежного и беспросветного одиночества.

## Голубая кофта

По утрам на лагерь опускался холодный туман. Я радовалась, что Бетси не было здесь. Теперь у меня была другая работа: мы таскали корзины с картофелем к траншее, где его засыпали землей на зиму. И, честно говоря, эта тяжелая работа отвлекала меня от грустных мыслей, согревала. Иногда даже удавалось утащить несколько картофелин.

Но моя тоска по Бетси была невыносима, и я совершила безрассудный поступок. Майен объяснила мне, как проникнуть в госпиталь, минуя пост охраны: в туалете на первом этаже большое окно было такое перекошенное, что плотно не закрывалось, и через него лезли те, кто хотел навестить своих близких.

В густом тумане залезть в окно незамеченной было совсем нетрудно. Я протиснулась через проем, и в нос мне ударил отвратительный запах нечистот. Вдоль стены было несколько отверстий, на полу в мутной жиже плавали экскременты. Я бросилась к двери, но вдруг остановилась и оцепенела от ужаса — я увидела несколько обнаженных трупов, лежащих в ряд. У некоторых были открыты глаза: казалось, что они, не мигая, смотрят в потолок. Вдруг распахнулась дверь и в туалет вошли двое санитаров, которые несли что-

то, завернутое в простыню. Они даже не взглянули в мою сторону, и я поняла, что они приняли меня за пациентку. Я выскочила за дверь и оказалась в огромном зале. Словно во сне я пошла почему-то налево...

Я уже успела забыть дорогу назад, к туалету. Что будет, если меня недосчитаются на работе? И вдруг, свернув еще раз, я узнала помещение, где оставила Бетси. Вокруг не было ни одного человека из больничного персонала. Я кинулась между койками, заглядывая в лица.

— Корри!

Бетси сидела на кровати возле окна. Она не выглядела такой болезненно хрупкой, какой пришла сюда: глаза блестели, а щеки порозовели. Она сказала, что ее так и не осмотрел ни один доктор, но возможность лежать и не выходить на тяжелую работу сделали свое дело.

Через три дня Бетси вернулась в барак № 28. У нее по-прежнему держалась температура, никаких лекарств ей не дали. Но радость от того, что Бетси опять со мной, пересилила мое беспокойство...

Бетси назначили в «вязальную бригаду», причем самым слабым женщинам разрешили работать в спальном бараке. Конечно, они имели гораздо больше свободы, чем вязальщицы из центрального барака, и Бетси могла беспрепятственно заниматься своими слушательницами. Она заканчивала пару носков еще до полудня, а остальное время читала им Библию.

Однажды я вернулась в барак довольно поздно после похода за дровами. Бетси поджидала меня.

— Похоже, ты сегодня очень довольна собой, — сказала я.

— Да! Я кое-что поняла! Я знаю, почему в спальный барак не заходят надзиратели!

Бетси рассказала, что сегодня днем женщины попросили бригадиршу помочь им разобраться в одном вопросе.

— Но можешь себе представить — она не пришла! И никто из надзирательниц не пришел! И знаешь, почему?

Бетси не могла скрыть победных интонаций.

— Из-за блох! На нарах полно блох!

Я сразу вспомнила наше первое появление в спальном бараке, когда Бетси благодарила Бога за блох, а я не видела в этом никакого смысла...

В декабре утренние и вечерние поверки превратились в испытания на выносливость. К сожалению, Бетси также должна была присутствовать на них.

Однажды утром произошел ужасный случай. Слабоумная девушка вдруг измазала себя грязью, и надзирательница, которую мы прозвали Змеей, бросилась на нее с кожаным ремнем. Несчастливая кричала от боли и ужаса, но Змея не могла остановиться и хлестала девушку с еще большим остервенением.

Девушка упала на гаревый плац и затихла.

— Бетси, — прошептала я, — что можно сделать для этих людей? Я имею в виду — потом... Построить для них дом, ухаживать за ними, любить их?

— Да, Корри! Я каждый день молюсь, чтобы Господь сподобил меня показать им, что любовь сильнее зла!

Позже, собирая хворост за лагерной стеной, я вдруг поняла: я говорила об умственно отсталых, а Бетси — об их истязателях...

Через несколько дней наша бригада была вызвана на медицинский осмотр в госпиталь.

Я скинула платье и стала в очередь. К моему удивлению, доктор осматривал заключенных со стетоскопом.

— Это еще зачем? — спросила я женщину, стоящую передо мной.

— Транспортная инспекция, — ответила она, не поворачивая головы, — перевозка военных грузов.

Перевозка военных грузов! Невозможно! Я не хочу отсюда уезжать. «Господи! Не дай им разлучить нас с Бетси!»

Но, к моему отчаянию, я беспрепятственно прошла осмотр. Некоторых женщин вывели из строя, но оставшиеся едва ли выглядели здоровее — вздутые животы, впалая грудь, тощие ноги. Боже мой! Как, наверное, бедна Германия, если ей нужны такие работники!

Подошла моя очередь к главному врачу. Ледяными руками она повернула меня к таблице, висевшей на стене.

— Читайте нижний ряд!

— Я... я не могу (Господи, помилуй!), я вижу только верхнюю букву — вон то большое «Е» (это было «Р»).

Докторша раскусила меня в тот же миг:

— Вы что, не хотите на дорожные работы?

В Равенсбрюке перевозка военных грузов считалась привилегией: еда и жилищные условия были гораздо лучше, чем в лагере.

— Простите, доктор! Моя сестра здесь, она очень слаба, и я должна быть с ней.

Врач нацарапала что-то на листке бумаги.

— Придете завтра, чтобы подобрать очки.

Вернувшись в строй, я прочитала, что заключенная № 66730 должна явиться в 6.30 в глазное отделение. Именно в это время отправляли бригаду!

На следующий день, когда грузовики с транспортной бригадой грохотали по дороге, я стояла в коридоре глазного отделения. У молодого доктора никаких инструментов не было — только ящичек с очками. Мне не подошли ни одни, и, выйдя из отделения, я нерешительно направилась к центральному бараку, чтобы узнать, в какой бригаде я теперь должна работать. Когда я вошла, бригадирша подняла голову и посмотрела на меня.

— Номер?

Я назвала свой номер, и она записала что-то в толстую книгу в черном переплете.

— Возьмите пряжу и выкройку и идите в спальный барак. Здесь нет мест.

Не веря своим ушам, я вышла... Так начались наши счастливейшие дни в Равенсбрюке.

Мы с Бетси, благодаря ниспосланным нам блохам, могли поведать слово Божье всем окружающим. Я видела, как совершенно отчаявшиеся женщины обретали надежду. Вязальщицы барака № 28 стали живым сердцем в больном организме — Равенсбрюке. Мы молились за всех обитателей лагеря — и заключенных, и тюремщиков, о спасении Германии, Европы, мира, как когда-то молилась за всех наша мама, скованная болезнью.

Мы молились Богу, а Он говорил с нами, говорил о наших судьбах после войны. Это казалось невероятным. Как можно сейчас думать о будущем?

Моя сестра уже твердо знала, чем мы будем заниматься после войны: у нас будет дом, очень-очень большой, гораздо больше нашего дома в Харлеме. Там будут жить люди, чьи судьбы сломаны войной.

— Это будет замечательный дом, Корри! Там будут полы, пахнущие свежим деревом, и стены, украшенные картинами и статуэтками, и широкая лестница, сбегаящая вниз. И сад вокруг дома! Люди будут выращивать там цветы, это так полезно — ухаживать за цветами!

Слушая Бетси, я смотрела на нее с удивлением. Казалось, что она говорит о вещах, которые видела своими собственными глазами, будто сад и лестница — все это и есть реальность, а грязный барак — просто-напросто дурной сон.

Но, к сожалению, это был не сон. Зловещая реальность нависала, готовая поглотить нас.

Однажды утром три женщины из нашего барака опоздали на несколько минут — на следующей неделе все бараки поднимались на час раньше, в 3.30 утра.

Другой случай произошел перед осмотром в госпитале. Мы увидели несколько грузовиков с открытым верхом, подкативших к главному входу. Медсестра вывела из госпиталя старую женщину с подгибающимися ногами и заботливо усадила в кузов. Из дверей хлынул поток медсестер и санитаров, ведущих под руки больных. Самых последних вынесли на носилках. Наши глаза видели все это, но разум отказывался понимать: время от времени в госпитале проводили «чистку». Когда не хватало мест, то самых больных и старых отвозили в кирпичное здание с высокой квадратной грубой...

И все это была реальность, которая казалась невозможной. Рядом существовали совершенно несовместимые вещи. О чем, например, думала медсестра, когда ласково помогала старушке сесть в кузов грузовика, увозившего людей в крематорий?

С каждым днем становилось все холоднее. Однажды во время вечерней поверки мы услышали, как отряд заключенных начал маршировать на месте. К нему один за другим присоединились остальные отряды, и вскоре весь плац маршировал, ударяя рваными ботинками о мерзлую землю, чтобы хоть немного согреться. Охранники не остановили нас. С тех пор это стало неотъемлемой частью утренних и вечерних поверок.

С приходом холодов среди нас стало распространяться одно особое заболевание — непобедимое чувство самосохранения. Оно могло принимать разные формы. Я, например, очень скоро заметила, что стоять во время поверки в середине строя гораздо лучше, чем с краю, — не так продувает ветер. Я понимала, что это эгоистично: если мы с Бетси в середине, то кто-то дол-

жен быть с краю. Но я находила тысячи оправданий своему поведению. Забота о Бетси. У нее такая важная миссия, и она должна быть здорова. К тому же, например, в Польше климат холоднее, чем в Голландии, и польки не так мерзнут, как мы...

Эгоизм — болезнь, которая имеет разные формы. Так, заметив, что дрожжи Майен постепенно убывают, я стала доставать мешочек только ночью, когда другие спали и не могли попросить. Ведь здоровье Бетси важнее!

«Ты ведь знаешь, Господи, она так много делает для них, и этот дом после войны — ведь он так нужен!»

И мне казалось, что самосохранение и эгоизм — не самые плохие чувства. Во всяком случае они не сопоставимы с садизмом, убийством и другими ужасами Равенсбрюка.

Это было великой уловкой сатаны: выставить на показ огромное мировое зло, по сравнению с которым грехи каждого человека как бы уменьшались. И эта раковая опухоль все больше разрасталась.

В середине декабря всем обитателям барака № 28 выдали по второму одеялу. На следующий день привезли партию заключенных из Чехословакии. Одной женщине не досталось и одного одеяла, и Бетси настояла на том, чтобы мы дали ей одно из наших. И тогда я одолжила ей одеяло, именно «одолжила», а не «дала». Подсознательно я считала это одеяло своим...

Было ли случайностью, что мои чтения Библии потеряли силу и радость? Мои молитвы сделались однообразными и безжизненными. Бетси хотела читать Библию сама, но не могла из-за сильного кашля. С этих пор наши службы стали для меня нескончаемой борьбой.

Как-то раз я читала в послании апостола Павла к коринфянам о том, что дано ему было «жало в плоть».

Апостол молился, чтобы Господь избавил его от немощи. Но Господь ответил: «Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи»<sup>12</sup>. И тогда апостол Павел понял, что следует благодарить Господа за свои немощи, так как они даны, чтобы он «не превозносился» и помнил, что все чудеса, совершаемые им, — благодать Божья, а не следствие его собственной силы и добродетелей.

Эти слова озарили меня словно молния. Я поняла, что мой грех не только в том, что я хотела пробраться в серединку во время проверок, чтобы спрятаться от холода. Мой главный грех был в том, что я думала, что это я исцеляю людей от отчаяния и даю им надежду, что благодаря мне или Бетси заключенные в бараке стали добрее и отзывчивее. Теперь я поняла, что все делал Господь, а я принимала в этом участие лишь по Его милости...

Короткий зимний день пошел на убыль, и я больше не могла разбирать слова на странице. Я закрыла Библию и начала рассказывать собравшимся вокруг меня женщинам всю правду о себе: и о своей жадности, и о своем эгоизме, и о недостатке любви. И прежняя радость вернулась ко мне...

С каждым днем утренние и вечерние проверки делались все более невыносимыми. Ветер становился все сильнее и жестче. Мы укладывали под одежду газеты, украденные Майен из госпиталя, и голубая кофта Бетси потемнела от типографской краски.

Этот ужасный холод был, по-видимому, причиной того, что иногда по утрам Бетси не могла двигать ногами — они просто не действовали. И тогда мы тащили ее на плац под руки. Это было нетрудно: моя сестра весила не больше ребенка, но на плацу она не могла маршировать, как все остальные. Когда мы возвраща-

лись в барак, я растирала ей ноги и руки, но они почему-то не согревались, а холод передавался мне.

Это случилось за неделю до Рождества. Утром Бетси не смогла двинуть ни рукой, ни ногой. Я бросилась в центральный барак. В этот день дежурила Змея.

— Пожалуйста, помогите, — взмолилась я, — моя сестра больна, ей надо в госпиталь!

— Докладывайте по форме! Ваш номер?

— Ах да... заключенная № 66730 докладывает... Умоляю, помогите!

— Все заключенные должны называть свои номера. Если она больна, то ее следует зарегистрировать в госпитале.

Я и одна голландка по имени Марика понесли Бетси к госпиталю, соединив свои руки наподобие сиденья.

Мерный звук марширующих ног раздавался по всему лагерю. Подойдя к госпиталю, мы остановились — очередь на медицинский осмотр тянулась от главного входа вдоль всего здания и заворачивала за угол. Три человека лежали на грязном снегу, прямо там, где упали. Без лишних слов мы повернули обратно. После проверки мы отнесли Бетси в барак. Она пыталась что-то сказать, но речь ее была медленной и неразборчивой.

— Концентрационный лагерь, Корри, лагерь... Но мы ответственны за...

Я наклонилась, чтобы разобрать слова. Бетси говорила о лагере, но не об этом, а о каком-то другом, где люди, испорченные идеями зла и насилия, будут учиться жить по-новому. Там не будет стен с колючей проволокой, а окна в бараках — очень большие.

— Это так полезно для них... смотреть, как растут цветы и деревья. Люди учатся любить у цветов.

Бетси говорила о наших учителях, о Змее...

— Значит, лагерь будет в Германии? Вместо того большого дома в Голландии?

— Нет, нет! — сказала Бетси испуганно. — Конечно, сначала тот большой дом... он уже готов и ждет нас... Такие высокие, высокие окна... и солнечные лучи сквозь стекла...

Приступ кашля перебил ее. Когда наконец она затихла, я увидела на соломе кровь. Бетси впала в полузабытье и пролежала так день и следующую ночь. Изредка просыпаясь, она говорила об одном и том же.

— Эти бараки серые, Корри, но мы их выкрасим в зеленый цвет. Яркий светло-зеленый, какой бывает весной...

— Мы всегда будем вместе, Бетси? Ведь все это мы будем делать вместе? Ведь так?

— Всегда вместе, Корри, ты и я... Всегда вместе...

Когда на следующее утро прозвучала сирена, мы с Марикой опять понесли Бетси на поверку. Но не успели мы сделать несколько шагов, как к нам направились Змея.

— Несите ее в барак.

— Я думала, что все заключенные...

— Несите ее обратно!

Мы вернулись и положили Бетси на нары. Неужели атмосфера барака № 28 смягчила даже жестокосердную фройляйн?

После поверки я кинулась в барак и увидела возле наших нар Змею с двумя санитарями. Она как-то виновато выпрямилась и велела санитарам вынести заключенную.

Я пристально посмотрела на нее: «Что заставило Змею, не испугавшись вшей и блох, спасти Бетси от утренней поверки и отправить в госпиталь?» Она не остановила меня, когда я пошла следом за носилками. В этот момент группа женщин входила в барак, и одна полька упала на колени и перекрестилась.

Минуя очередь, мы вошли в госпиталь. Санитары опустили носилки на пол, и я наклонилась, чтобы разобрать слова, которые шептала Бетси.

— ...должны рассказать людям, чему мы научились здесь. Они послушают нас, Корри, потому что мы были здесь...

Я всматривалась в изможденное лицо моей сестры.

— Но когда это будет, Бетси?

— Очень скоро. В первый же день нового года нас здесь не будет!

Медсестра посмотрела на меня, и я попятилась к двери. Бетси положили на узкую койку рядом с окном.

Выбежав на улицу, я бросилась к окну. Бетси увидела меня. Мы обменялись улыбками и беззвучными словами. Но тут меня заметили охранники и крикнули, чтобы я убиралась.

На следующий день, около полудня, я отложила вязание и пошла в центральный барак.

— Заключенная № 66730 докладывает: разрешите пойти в госпиталь! — я стояла прямо, как палка.

Змея посмотрела на меня и выписала пропуск. На улице шел снег. Я подошла к госпиталю, но злющая медсестра не впустила меня, несмотря на пропуск. Я снова пробралась к окну и тихонько постучала. Бетси лежала с открытыми глазами. Она медленно повернула голову.

— Как ты? — спросила я, старательно выговаривая слова.

Она кивнула.

— Ты должна хорошо отдохнуть.

Она сказала что-то в ответ, но я не понимала. Бетси снова зашевелила губами. Я прижалась к стеклу.

— ...так много нужно сделать...

На следующий день дежурила другая надзирательница, и я не получила пропуска. Утром, сразу же после проверки, я без разрешения побежала к заветному окну. Возле Бетси стояли две медсестры. Я отпрыгнула в сторону и, подождав немного, снова посмотрела. На койке лежало обнаженное тело, словно вырезанное из желтоватой слоновой кости. Я видела каждое ребрышко и очертания зубов, проступавших сквозь кожу. Прошла минута, прежде чем я поняла, что это Бетси...

Медсестры взялись за концы простыни, подняли тело и понесли его из палаты. Мое сердце начало учащенно биться.

«Бетси! Но... так много надо сделать! Она не... Куда они ее понесли? Куда они пошли?»

Я побежала вдоль стены, сердце билось так, что болела грудь. Потом я вспомнила о туалете на первом этаже.

«Окно... Там были эти...»

Я завернула за угол и бросилась к окну. Но когда мои руки ухватились за раму, я вдруг остановилась.

«Неужели она здесь? Они положили ее на пол?»

Я спрыгнула на землю и быстро пошла. Мне казалось, что я иду очень долго, и снова с этой болью в груди. Но ноги вели меня к окну.

«Но я не могу войти! Ее там нет...»

И я снова иду. Удивительно, что никто из охранников не остановил меня.

— Корри!

Я обернулась и увидела Майен.

— Корри! Я ищу тебя повсюду, идем скорее!

Она схватила меня за руку и потащила за здание больницы. Когда я увидела, куда она меня ведет, я вырвала руку и сказала:

— Я знаю, Майен, я уже знаю.

Но она будто не слышала и, схватив меня за руку, снова потащила к окну. Майен буквально впихнула

меня внутрь. Посреди отвратительной комнаты стояла медсестра, я бросилась обратно, но сзади оказалась Майен.

— Это сестра, — сказала она.

Я увидела ряд обнаженных трупов вдоль стены. Мне не хотелось смотреть. Но Майен положила мне руку на плечо и повела дальше. Мы остановились около двери.

— Корри! Ты видишь ее? Посмотри на ее лицо!

Передо мной лежала Бетси. Глаза ее были закрыты, как будто во сне. Ее лицо — свежее и молодое! Следы голода и болезни исчезли. Передо мной была Бетси из Харлема — счастливая и спокойная. Сильнее! Свободнее! Это была Бетси из Царства Божьего — светящаяся радостью и здоровьем. Даже волосы ее лежали так красиво, словно ангел небесный убрал их... Медсестра открыла дверь.

— Вы можете выйти через коридор, — сказала она мягко.

Я посмотрела на Бетси в последний раз, на ее спокойное, радостное лицо. И мы пошли вместе с Майен.

Около двери лежала куча одежды, а сверху — голубая кофта. Я наклонилась, чтобы взять ее: это была последняя связь с Бетси.

— Не надо, Корри, — сказала Майен, — не дотрагивайся! Одежда заражена черными вшами, ее сожгут.

Итак, мне не осталось от Бетси ничего материального. Но это было даже лучше. Теперь только Господь связывал нас.

## *Три пророчества*

Красота Бетси после смерти не давала мне пасть духом, и я рассказывала всем, кто любил ее, о мире и радости на ее лице.

Через два дня на утренней поверке недосчитались одного номера из нашего барака. Все бараки были отпущены, кроме нашего. По громкоговорителю объявили, что пропала женщина, и все будут стоять на плацу, пока ее не найдут. Лево́й, право́й, лево́й, право́й — звук марширующих ног. Начало всходить зимнее бледно-желтое солнце, которое не могло согреть. Я посмотрела на свои ноги: ступни и щиколотки распухли и сделались как надувные. К полудню я перестала их чувствовать совсем.

«Какая ты сегодня счастливая, Бетси! Теперь тебя не мучают ни голод, ни холод и ничто не стоит между тобой и Отцом Небесным».

В полдень нас отпустили. Пропавшая женщина была найдена мертвой на верхних нарах.

На следующее утро во время поверки из громкоговорителя раздались слова: «Тен Боом Корнелия!»

Какое-то время я продолжала тупо маршировать на месте. Я так долго была номером 66 730, что перестала реагировать на собственное имя. Потом вышла вперед.

— Встаньте в сторону!

«Что будет дальше? Почему меня вывели из строя? Неужели кто-то рассказал про Библию?»

С того места, где я стояла, была виден весь лагерь, и десятки тысяч марширующих людей, и белый пар от их дыхания, висящий над рядами.

Завыла сирена, и охранница сделала мне знак следовать за ней. С трудом передвигаясь на распухших ногах, я старалась не отставать. Вскоре мы вошли в административный барак.

Несколько заключенных стояли возле стола, за которым сидел молодой офицер. Он поставил печать на какой-то листок и протянул его женщине.

— Свободна!

«Свободна? Эта женщина свободна? Мы все...» Офицер назвал имя следующей заключенной. Подпись, печать, «Свободна!» Наконец я услышала свое имя и подошла к столу. Офицер поставил подпись и печать, и через секунду я держала в руках драгоценный листок с моим именем, датой рождения и большими черными буквами наверху «Свидетельство об освобождении».

Как во сне я вместе со всеми пошла по длинному коридору к другому столу, где мне выдали пропуск на железную дорогу до голландской границы. Затем охранница указала мне на комнату, где заключенные, получившие пропуск раньше меня, снимали одежду и складывали ее возле стены.

— Раздевайтесь здесь, — сказала дежурная, улыбаясь, — медицинская экспертиза.

Я сняла через голову платье вместе с Библией, свернула, заткнула под кучу одежды и присоединилась к другим заключенным. Я прислонилась голой спиной к шероховатой деревянной стене и вдруг почувствовала, что эта тюремная процедура стала мне отвратительна вдвойне после слова «свободна».

Наконец вошел врач — веснушчатый молодой парень в военной форме. Он презрительно окинул взглядом нашу жалкую шеренгу. Одна за другой мы подходили к нему, наклонялись, поворачивались направо и налево, растопыривали пальцы. Когда подошла моя очередь, врач посмотрел на мои ноги и с отвращением поджал губы.

— Эдема. Госпиталь.

Доктор вышел. А я и еще одна женщина, кожа и глаза которой были темно-желтого цвета, начали медленно натягивать свою одежду.

— Значит, мы не... Нас не освободят?

— Как только вы поправитесь, вас выпустят, — сказала дежурная. — Мы выпускаем только с удовлетворительным состоянием здоровья.

Темнело. Серое скучное небо роняло снег. Мы пошли по лагерю вдоль нескончаемых бараков.

Очередь в госпиталь тянулась вдоль всего здания. Нас впустили сразу же и затем отвели в палату, где стояли двухъярусные койки. Мне указали на верхнюю, рядом с женщиной, покрытой гноящимися нарывами. Но хорошо, что мое место было рядом со стеной и я могла, опираясь на нее, держать ноги поднятыми, чтобы скорее спала опухоль. Теперь самое главное для меня — пройти медицинскую экспертизу.

То ли предвкушение свободы сделало мои нервы слабее, то ли Равенсбрюк стал уж совсем диким и безбожным местом, но в госпитале людские страдания казались мне просто невыносимыми.

Здесь лежали заключенные, попавшие по дороге в лагерь под бомбежку. Женщины были искалечены и кричали от боли. Но две медсестры только усмехались и, кривляясь, передразнивали их.

В госпитале я увидела полное равнодушие друг к другу. Это равнодушие — одно из самых страшных за-

болеваний концентрационного лагеря. Его симптомы я нашла и в себе. Да и как можно было выжить в таких условиях, оставаясь чувствительной! Гораздо удобнее и спокойнее было думать о своих болях, чем о чьих-либо еще. Не видеть, не слышать...

Но это было невозможно. Ночью я услышала, как кричали женщины, прося судно: многие не могли прийти до грязного туалета.

В конце концов я опустила ноги, слезла вниз и подала судно нескольким женщинам. Благодарность была выше всякой меры: «Кто вы? Почему вы это делаете?» Как будто жестокость и бездушие были нормой, а элементарное внимание — настоящим чудом.

Когда серый рассвет показался за окном, я вспомнила, что сегодня Рождество.

Каждое утро я ходила на осмотр, и каждый раз диагноз был один: «Эдема ступней и щиколоток». Многие женщины, с которыми я встретилась там, были тоже освобожденными. Некоторых освободили несколько месяцев назад, и их свидетельства и пропуска истрепались до дыр.

«А если бы Бетси была жива? Наверное, мы сейчас были бы вместе. Но она никогда не прошла бы медицинскую экспертизу. И если бы я прошла, а она... Но в Царстве Божьем не может быть никаких „если бы“. У Него свой счет. А Его воля — наш покров. Господь Иисус, дай мне исполнить Твою волю! Не дай мне сойти с ума, блуждая в потемках и не ведая ее!»

Я думала, кому бы оставить Библию. Как легко будет купить еще одну в Голландии, и не одну, а сколько угодно! В палате не многие могли читать голландский текст, и в конце концов я отдала Библию женщине из Утрехта. Она была очень благодарна мне за это.

На шестой день моего пребывания в палате таинственно исчезли сразу два судна. Кто-то крикнул, что

их утащили и спрятали под одеяла две цыганки, чтобы не вставать в туалет. Эти женщины лежали на верхних койках. У одной из них была гангрена на ноге, и она выставляла ее навстречу каждому, кто подходил. Я приблизилась к их койкам и попросила, чтобы они вернули судна, хотя не была уверена, что они понимают по-немецки. Вдруг что-то мокрое и липкое обвилось вокруг моего лица — цыганка сняла бинт с ноги и швырнула в меня. Всклипывая, я бросилась по коридору в туалет и там мыла и терла лицо и руки под струей ледяной воды.

«Я больше никогда не подойду к ним! Никогда! Какое мне дело до этих дурацких „уток“! Я больше не могу...»

Но я снова пошла к цыганкам. За этот год я научилась оценивать свои силы — что я могу и что не могу. Когда цыганки увидели меня, оба судна с грохотом полетели на пол.

На следующее утро дежурный врач поставил печать на моем свидетельстве об освобождении. Время, которое раньше тянулось так медленно, полетело с головокружительной быстротой. Мне выдали одежду: шерстяную юбку и красивую шелковую блузку, кожаные туфли, почти новые, а также шляпу и пальто. Мне дали подписать документ о том, что я никогда не болела в Равенсбрюке и что обращение было хорошее. Я подписала. В другом здании я получила порцию хлеба и продуктовые купоны на три дня. Мне вернули мои часы, деньги и мамино кольцо.

Меня и еще двенадцать человек вывели за ворота. Мы стали подниматься на низенький холм, и я увидела озеро, покрытое льдом. Вдали виднелся церковный шпиль и несколько сосен — как на старинной рождественской открытке.

Я не могла поверить в происходящее. Наверное, нас просто снова ведут на завод «Сименс», а вечером мы

вернемся в лагерь. Но, поднявшись на холм, мы повернули налево — к центру маленького городка. Мои ноги распухли от новых жестких туфель, но я старалась не хромать и не отставать. Я представила себе, как охранница обернется, покажет на меня пальцем и закричит: «Эдема! Обрато в лагерь!»

На станции охранница оставила нас одних и, даже не обернувшись, пошла обратно. Очевидно, мы все ехали в Берлин, а оттуда — каждый своей дорогой.

Поезд нужно было ждать довольно долго. Я сидела на холодной железной скамейке, и чувство нереальности не покидало меня. Единственным ощущением действительности была знакомая пустота в желудке. Я оттягивала время и не доставала хлебный паек, но в конце концов опустила руку в карман и с ужасом обнаружила, что он был пуст. Я вскочила и посмотрела под скамейку, а потом побежала назад вдоль платформы. Где я могла его уронить? Или кто-то украл мой пакет? Вместе с хлебом пропали и продовольственные купоны на три дня.

Наконец подошел поезд, и мы бросились к вагонам. Но оказалось, что этот поезд был только для военных.

Около полудня нас посадили в почтовый поезд, но на второй остановке пришлось выходить, чтобы освободить место для продовольственного груза. Наше путешествие затягивалось. В Берлин мы попали только ночью.

Это был первый день 1945 года. Бетси оказалась права: мы обе были на свободе.

Шел густой снег. Я блуждала по огромному вокзалу, испуганная и потерянная. Мне нужно было найти поезд до Велсена, но привычка делать только то, что приказывают, лишила меня всякой активности. Наконец кто-то указал мне на отдаленную платформу. Каждый шаг в новых туфлях причинял невообразим-

мую боль, а когда я добралась до этой платформы, то оказалось, что поезд идет в противоположном направлении — не в Велсен, а в Ольштын, городок в Польше. И мне пришлось отшагать обратно то же расстояние, показавшееся мне бесконечным. Потом я подошла к пожилому розовощекому мужчине в железнодорожной форме, который убирал мусор после бомбежки, и спросила его, куда мне идти. Мужчина вежливо взял меня под руку и повел к нужной платформе.

— Я бывал в Голландии, — сказал он приветливо. — Когда жена была жива. Мы жили возле самого моря...

Я села в поезд. Прошло еще несколько часов, прежде чем появились остальные пассажиры, но я не смела выйти, так как боялась потерять дорогу и опоздать. Когда поезд тронулся, у меня от голода кружилась голова. На первой же станции я вместе с другими пассажирами пошла в кафе. Я достала свои голландские гильдены и сказала кассирше, что потеряла купоны.

— Старая история! Проваливай, пока не вызвала полицию!

Железная дорога была повреждена бомбежкой. Многие километры подряд поезд просто полз по рельсам. Чтобы двигаться вперед, приходилось как-то маневрировать. Мы перестали останавливаться на станциях, так как опасались бомбежки, а грузы и пассажиров брали в сельской местности.

За окном проплывала когда-то прекрасная Германия: обожженные леса, ребра церквей, возвышающиеся над руинами деревень. Вид Бремена особенно удручил меня — это была сплошная пустыня, где я увидела только сторбленную старуху, стоящую на куче кирпичей.

В Велсене пришлось опять долго ждать поезда. Я вошла в пустое кафе и уселась за столик, моя голова упала на руки, и я задремала. Вдруг сильный удар почти сбросил меня на пол.

— Здесь не ночлежка! — кричал разъяренный управляющий. — Эти столы — не для того, чтобы на них спали!

Поезда приходили, поезда уходили. Я садилась и выходила. Наконец я оказалась на маленькой пограничной станции и, встав в очередь на таможенный контроль, увидела ее название — «Ниверханс». Я была дома...

По дороге к платформе ко мне подошел человек в голубой форме.

— Я помогу вам, вы далеко не дойдете с такими ногами.

Он говорил по-голландски. Я повисла на его руке, и он довел меня до платформы, где уже стоял поезд. Я была в Голландии. Поезд тронулся. За окном проплывали покрытые снегом поля. Я была дома. Голландия была по-прежнему оккупирована, и немецкие солдаты стояли то тут, то там. Но я была дома...

Поезд шел только до Гронингена. Дальше железной дороги просто не было, и все поезда были отменены. Собравшись с последними силами, я дохромала до госпиталя, который находился недалеко от станции.

Меня встретила медсестра в белоснежном халате. Когда я рассказала свою историю, она вышла и вернулась с подносом, на котором стояли чашечка чая и блюдце с сухарями.

— Я не положила масла, так как вы страдаете истощением. Сейчас вы должны с осторожностью относиться к пище.

У меня слезы закапали в чай, когда я увидела, что кто-то еще заботится обо мне в этом мире.

В госпитале не было свободных мест, и меня решили положить в служебной комнате.

— А сейчас у меня готова ванна, — сказала медсестра.

Она повела меня по сияющим чистотой коридорам, и я шла как в волшебном сне. Над белой блестящей ванной поднимался пар.

Я погрузилась в воду до подбородка, и мне показалось, что ничего лучшего я не встречала в жизни.

— Еще пять минут! — молила я каждый раз, когда медсестра стучалась в дверь.

Наконец я надела ночную рубашку, и медсестра отвела меня в комнату, где уже ждала готовая постель. Простыни! Белоснежные простыни! Я гладила их руками, как безумная. Медсестра положила вторую подушку под мои распухшие ноги. Несколько минут я боролась со сном. Лежать в чистой постели было таким наслаждением, что мне хотелось немного продлить его.

Я провела в госпитале десять дней, и мои силы начали возвращаться. Когда я первый раз увидела стол, накрытый скатертью, с серебряными приборами и рюмками, я очень встревожилась.

— У вас сегодня будут гости, — сказала я медсестре, — позвольте мне поужинать у себя в комнате.

Я еще не чувствовала себя готовой к подобным мероприятиям. Молодая женщина рассмеялась и выдвинула для меня стул.

— Никаких гостей, все свои. Это просто ужин, и притом довольно скудный.

Я села и удивленно уставилась на ножи и вилки, на белоснежную скатерть. За весь год я не видела ничего подобного. Как дикарь, впервые оказавшийся в цивилизованном обществе, я следила за плавными жестами остальных: как они передавали друг другу хлеб и сыр, как неторопливо помешивали кофе...

Мне не терпелось поскорее узнать что-нибудь о Нолли и Виллеме, но как это можно сделать, если все поездки прекращены? Телефонная связь также была нарушена. Но телефонистке все-таки удалось соединиться с Хильверсюмом и сообщить о смерти Бетси и моем освобождении.

В середине следующей недели администрация госпиталя организовала переброску продовольствия на юг Голландии. Я решила воспользоваться этой возможностью. Поездка была нелегальной, так как продовольствие предназначалось для Германии. Мы ехали ночью, с выключенными фарами.

Ранним серым утром грузовик подкатил к кирпичному дому-приюту Виллема в Хильверсюме. Мне открыла высокая широкоплечая девушка. Через мгновение я уже обнималась с Тиной и двумя моими племянницами. Виллем, очень постаревший и изможденный, с трудом ковылял мне навстречу, опираясь на трость. Мы еще долго целовались и никак не могли прийти в себя от волнения. Потом я рассказала все подробности о болезни и смерти Бетси.

— Я почти хочу услышать то же о Кике, — медленно и мрачно заговорил Виллем, — я бы хотел, чтобы он был сейчас вместе с Бетси и отцом.

Виллем и Тина ничего не слышали о своем сыне с тех пор, как его угнали в Германию. Я вспомнила его руку на своем плече, когда мы катили на велосипедах к Пиквику, и его шепот: «У тебя нет карточек, тетя Корри! И нет никаких евреев!» Кик! Неужели молодые и сильные так же уязвимы, как старые и немощные?

Я провела в Хильверсюме две недели, пытаясь привыкнуть к тому, что увидела с самого первого момента — Виллем умирал. Казалось, что сам он этого не понимает, так весело он ухаживал за больными и старыми. В доме было больше пятидесяти пациентов. Что касается «обслуживающего персонала», то я просто не могла их всех пересчитать: помощницы медсестер, помощницы по кухне, секретарши... Только несколько дней спустя я узнала, что все эти милые «девушки» были юношами, скрывающимися от принудительной трудовой повинности.

Однако наш старый дом в Харлеме властно звал меня, и очень хотелось увидеть Нолли. Но как туда добраться? У Виллема была служебная машина, которой он мог пользоваться только в пределах Хильверсюма. Наконец после долгих и многочисленных разговоров по телефону Виллем сообщил, что мой переезд состоится.

Дороги были пустынные, и мы встретили только два автомобиля, пока добрались до условленного места, где ждала машина из Харлема. Это был длинный черный лимузин, предназначенный для высоких чинов, с занавесками на окнах. Я поцеловала Виллема и села на заднее сидение лимузина.

В сумраке я сразу же узнала грузного неуклюжего человека, сидящего рядом со мной.

— Герман! — воскликнула я.

— Моя дорогая Корнелия, Бог дал мне увидеть тебя снова!

Мы обнялись. Последний раз я видела Пиквика в Гааге, в тюремном автобусе, его лысая голова была в синяках и кровоподтеках. И вот сейчас он сидит рядом и спокойно выслушивает мои сочувственные слова, считая происшедшее с ним весьма заурядной историей.

Пиквик был в курсе всех событий в Харлеме. Он сказал, что евреи, которые скрывались у нас, свободны, кроме несчастной Мэри Италли, которую арестовали и отправили в лагерь в Польшу. Наша подпольная группа по-прежнему действовала, хотя многим юношам приходилось скрываться от трудовой и военной повинности. Из Схевенингена вернулась преданная Тос и открыла мастерскую. Наш сосед, владелец магазина оптики, помог ей с клиентами и материалами.

Постепенно мои глаза привыкли к полумраку в машине, и я смогла получше рассмотреть нашего старого друга. На его большой голове появились шрамы,

не хватало многих зубов, но эти изменения не имели большого значения, так как доброта Пиквика всегда чудесным образом преображала его внешность.

Лимузин уже ехал по узеньким улочкам Харлема: по мосту над рекой Спарне, через Гроте Маркт, мимо собора Сент-Баво, потом — по Бартельорис-страат. Я выскочила еще до того, как он остановился, и кинулась в объятия Нолли и ее дочерей. Они были здесь с самого утра: подметали, мыли окна и поджидали меня. На пороге дома стояла Тос, улыбаясь и плача одновременно. Она радовалась моему возвращению, но ей было очень тяжело думать о том, что отец и Бетси, два человека, которых она только и любила в жизни, больше никогда не вернуться...

Все вместе мы обошли наш дом, трогая и рассматривая знакомые предметы. «А помнишь, как Бетси выставила эти чашки? А помнишь, как Мета ругала Эйси за то, что он оставил здесь свою трубку?»

Я стояла на площадке лестницы перед входом в столовую, и моя рука скользила по гладкому дереву фризских часов. Я вспомнила, как отец остановился здесь в последний раз и сказал: «Часы всегда должны идти...» Я посмотрела на свои наручные часы, перевела стрелки и подтянула гири.

Я была дома. Жизнь, как и время на часах, потекла опять. Утром — мастерская, днем — поездки на велосипеде на Бос эн Ховен-страат. И все же... Удивительное дело, но я не была дома. Я все ждала чего-то или кого-то. Бродила по улицам и берегам каналов, звала Махер Шалал Хашбаза. Старая зеленщица рассказала мне, что после нашего ареста кот мяукал под их дверью и она впустила его. Несколько месяцев кота подкармливали соседские ребятишки, которые при-таскивали что-нибудь съедобное из помоек и даже кусочки от своих скудных обедов, и Хашбаз лоснился и

толстел. В середине декабря он пропал. Той голодной зимой мало кто из животных выжил, и на мой зов не пришел никто, ни одна кошка и ни одна собака.

Наш дом опустел. Я вспомнила слова отца, которые он сказал офицеру гестапо в Гааге: «...я открою дверь любому, кто постучится за помощью».

Пожалуй, больше всего в помощи нуждались умственно отсталые. Германское правительство считало их жизнь нецелесообразной, поэтому специальные школы были закрыты, а их самих приходилось прятать на чердаках и в подвалах.

Вскоре в моем доме поселились несколько таких людей. Они по-прежнему не могли выходить на улицу, но все-таки здесь обстановка для них была лучше: они общались друг с другом, а я занималась с ними.

Но я все-таки не могла найти себе места. Я была дома, у меня была работа и любимое занятие, но... Иногда я ловила себя на том, что целый час сижу и смотрю в пустоту. Подмастерья, которых наняла Тос, были первоклассными работниками, и я проводила в мастерской все меньше времени. Я не находила там того, что искала. Этого не было и наверху, хотя я очень любила людей, за которыми ухаживала. Ради Бетси я купила цветы, но они все завяли, потому что я забывала их поливать.

Возможно, я скучала по подполью. Когда группа Национального Освобождения предложила мне выполнить небольшую работу, я с радостью согласилась: надо было передать в тюрьму фальшивые документы и свидетельства об освобождении. Что могло быть проще, чем пронести эти бумаги через знакомую деревянную дверь! Но как только эта дверь закрылась за мной, мое сердце затрепетало от страха: «А что будет, если я уже не выйду отсюда? Вдруг это ловушка?»

Появился молодой лейтенант с рыжими волосами.  
— Я вас слушаю?

Это был Рольф. Но почему он не узнает меня? Я уже арестована?

— Рольф, — сказала я, — ты меня не помнишь?

Он пристально посмотрел на меня, как бы пытаюсь вспомнить.

— О да! — сказал он мягко. — Дама из часовой мастерской! Я слышал, что вы уезжали ненадолго...

Я вытаращила глаза. Рольф прекрасно знал, что... И тут до меня дошло, где мы находимся: в центральном полицейском участке, с немецкими солдатами, которые смотрят на нас, а я обратилась к нашему товарищу по имени, практически намекнула на существование каких-то отношений между нами, в то время как основным правилом подполья было... Как я могла быть такой тупой?

Мои руки тряслись, когда я отдавала Рольфу документы.

— Эти бумаги можно передать только с разрешения шефа полиции и военного представителя. Приходите завтра к четырем часам, так как шеф будет занят до...

Но я уже не слушала дальше. При слове «завтра» я попятилась к двери и выскочила на улицу. Я постояла немного на тротуаре, пока мои колени не перестали дрожать. Если бы мне когда-нибудь понадобилось доказательство моей тупости и трусости, то я его получила. Очевидно, вся моя прежняя хитрость и изворотливость были тоже под наблюдением Божьим. Теперь было ясно, что Господь лишил меня этих качеств. Я поплелась домой. Повернув на нашу улицу, я вдруг поняла, кого искала — это была Бетси.

Именно по Бетси я скучала все эти дни. Именно Бетси я надеялась найти здесь, в Харлеме, в часовой мастерской, в доме, который она любила. Но ее здесь не было. И вдруг, впервые с момента ее смерти, я вспомнила: «Мы должны рассказать людям, Корри, мы должны им рассказать все, чему мы научились».

И я стала рассказывать. Я подумала, что если это дело поручено мне Богом, то Он даст мне и силы, и слова, и храбрость. Я разъезжала на своем велосипеде по улицам и пригородам Харлема, говоря о том, что радость сильнее отчаяния. Именно это хотели услышать люди весной 1945 года. Ни одно дерево в Харлеме не цвело, поля не пестрели тюльпанами — все бутоны погибли. Ни одну семью не обошла трагедия. Везде — в церквах и частных домах — я рассказывала об истине, которую мы познали в Равенсбрюке, о мечте Бетси открыть дом для людей, истерзанных войной, где они научились бы жить заново, без страха и ненависти.

На одном из таких собраний ко мне подошла стройная, аристократического вида женщина. Я узнала ее: это была миссис Биренс де Ган, чей дом в пригороде Харлема считался самым красивым в Голландии. Я никогда не видела этот дом, а только верхушки деревьев огромного парка. Миссис де Ган спросила меня, живу ли я по-прежнему в старинном доме на Бартельористраат.

— Моя мать рассказывала мне о нем. Она частенько ходила туда, чтобы повидаться с вашей тетушкой, которая занималась благотворительностью.

В одно мгновение я представила себе вихрь атласного платья тети Янс, стоящей на верхней ступеньке лестницы...

— Я вдова, — сказала миссис де Ган, — у меня пятеро сыновей в Соппротивлении, четверо из них живы и здоровы. А о пятом мы ничего не знаем с тех пор, как его увезли в Германию. И вот сейчас, когда я слушала вас, какой-то внутренний голос сказал мне: «Ян вернется домой, и в благодарность за это ты откроешь свой дом для людей, как хотела Бетси тен Боом».

Через две недели почтальон принес надушенный конверт, в котором была короткая записка: «Ян дома».

Миссис Биренс де Ган встретила меня у входа в усадьбу. По дубовой аллее мы вышли к большому особняку. Два садовника работали на клумбе с цветами.

— Сад здорово зарос, — сказала миссис де Ган. — Я хочу придать ему форму. А вы действительно считаете, что садоводство может быть лекарством?

Я ничего не ответила. Я смотрела на двускатную крышу и красивые окна. «Такие высокие-высокие окна...»

— Скажите, — у меня пересохло горло, — скажите, а внутри дома полы пахнут свежим деревом? И вокруг центрального зала широкая галерея, украшенная статуэтками?

Миссис де Ган посмотрела на меня с удивлением.

— Вы были здесь? Но я не помню...

— Нет, — ответила я, — мне рассказывали...

Я осеклась. Как я могла объяснить то, чего не понимала сама?

— ...те, кто был здесь, — закончила миссис де Ган, не понимая моего замешательства.

— Да, — сказала я, — те, кто был здесь.

Во вторую неделю мая союзники вошли в Голландию. Все дома были украшены голландскими флагами, а по радио играли Вильгельмуса. Канадская армия привезла в город продовольствие.

В июне первые жители прибыли в прекрасный дом в Блумендале. Замкнутые или открыто рассказывающие о своих бедах, подавленные или агрессивные — все они были искалечены войной. Некоторые вернулись из концентрационных лагерей, другие провели эти годы на чердаках и в подвалах. Среди них была миссис Кан, вдова нашего бывшего «конкурента», умершего во время оккупации, — сгорбленная, седая женщина, которая вздрагивала от любого звука.

В 1947 году мы приняли несколько голландцев, побывавших в плену у японцев в Индонезии. Познако-

жившим с другими обитателями Блумендаля, они поняли, что их страдания не были исключительными.

И для всех этих людей путь к исцелению лежал через прощение: прощение соседа, который их выдал, прощение жестокости, прощение зла.

Труднее всего было прощать не немцев, а тех голландцев, которые присоединились к ним. Теперь их положение было незавидным — бездомные, всеми презираемые.

Сначала я думала, что следует дать возможность этим людям пожить в Блумендале бок о бок с теми, кому они причинили столько зла. Я надеялась, что возникнет обоюдное сострадание. Но это оказалось преждевременным для людей, которые только начинали залечивать свои раны. Два раза я делала попытку свести их, но эти встречи заканчивались открытой враждой.

Как только в стране начали открываться школы и интернаты для умственно отсталых и можно было туда передать моих жильцов, я решила превратить дом на Бартельорис-страат в убежище для бывших нацистов.

Так протекала жизнь после войны: экспериментируя, ошибаясь, делая выводы, я искала путь к искалеченным душам. Наш режим был очень свободным, и некоторые обитатели злоупотребляли этим: поздно возвращались, вызываясь вели себя, мешали другим на вечерних и утренних службах. Но я не могла ругать или лишать их за это свободы.

Постепенно, каждый по-своему и в свое время, все эти люди сумели преодолеть внутреннюю боль и ненависть. Как предсказывала Бетси, очень часто это происходило благодаря работе в саду. Когда цветы начинали распускаться, овощи и фрукты — поспевать, мы больше разговаривали о завтрашней погоде, нежели о прошлых горестях. По мере того, как изменялись жители Блумендаля, я рассказывала им о тех, кто жил

на Бартельорис-страат, о людях, которые не получали писем и которых никто не навещал. И если мои рассказы о бывших нацистах не вызывали вспышку праведного гнева, то я знала: исцеление близко. А когда мой подопечный говорил: «Неужели эти люди ухаживают за комнатной морковкой?», я знала — чудо совершилось.

Я продолжала говорить так, как чувствовала, зная, что люди нуждаются в этом. Я объездила всю Голландию, была в других странах Европы и в Соединенных Штатах.

Но самой нуждающейся страной была Германия, вся в руинах, с разрушенными городами. А самое страшное — выжженные сердца и души. Стоило только пересечь границу этой страны, чтобы почувствовать невероятную тяжесть.

Однажды в Мюнхене, в церкви, я увидела бывшего охранника из Равенсбрюка, офицера СС. Это был первый мой мучитель, которого я встретила на свободе. Все вдруг встало перед глазами: и ухмыляющиеся охранники, и бледное, измученное лицо Бетси... Он подошел ко мне после службы, улыбаясь и кланяясь.

— Как я признателен вам за ваш рассказ, фройляйн! Как это верно! Христос искупил мой грех...

Он протянул мне руку. А я, которая убеждала людей прощать своих врагов, не смогла поднять своей. Гнев, желание отомстить захлестнули меня. Единственное, что я могла сделать, это сказать про себя: «Господи, прости меня! И дай мне, Господи, сил простить этого человека!»

Я даже пыталась улыбнуться, поднять руку. И не могла. В моей душе не было ни жалости, ни тепла. И я снова и снова молила Иисуса, чтобы Он дал мне силы простить этого человека. Наконец я протянула руку, и тут случилось что-то невероятное — словно электри-

ческий заряд прошел между нами! И сердце мое наполнилось любовью и состраданием к этому человеку.

Тогда я поняла, что Господь, призывающий нас любить своих врагов, дал нам и саму любовь...

Этой любви нужно было очень много, чтобы помочь голодным и бездомным жителям Германии. Церковная община попросила меня выступить перед людьми, живущими в пустующей фабрике.

Эта фабрика внутри была сплошь увешана простынями и одеялами, имитирующими стены. Через эти «стены» свободно проходили все звуки — радио, детский плач, крики и брань. Как я могла говорить перед этими людьми? Прежде чем учить их любви и прощению, нужно было самой пожить в таких условиях. Я осталась на фабрике и провела там несколько месяцев.

Как-то на эту фабрику приехал лидер одной немецкой освободительной организации. Он сказал, что знает о проводимой мною в Голландии работе по реабилитации и хотел бы попросить меня... Я была готова отказаться, но его слова заставили меня онеметь.

— Мы нашли прекрасное место для этой работы — бывший концентрационный лагерь.

Мы поехали в Дармштадт. Лагерь был по-прежнему окружен рядами колючей проволоки. Я медленно шла по гаревому плацу, мимо нескончаемых рядов серых бараков. Я толкнула дверь одного из них и оказалась между рядами металлических коек.

— В каждом бараке будут огромные окна, — сказала я. — Мы уберем колючую проволоку, а потом все выкрасим в светло-зеленый цвет. Яркий светло-зеленый, какой бывает весной...

*«Кто спас одну  
человеческую жизнь,  
тот спас целый мир»*

Семья тен Боом и их друзья за время Второй мировой войны спасли от нацистского преследования 800 евреев и многих голландских подпольщиков. Этот подвиг вполне может сравниться с тем, что сделал для избранного народа немецкий промышленник Оскар Шиндлер.

Божий народ помнит своих благодетелей. В Израиле есть понятие «праведники народов мира», то есть праведники-неевреи. Это почетное звание присваивают людям, спасавшим или содействовавшим спасению евреев в период Катастрофы. Удостоенным высшей степени этого звания вручается почетный диплом, именная медаль, их имена гравированы на стене почета. До конца 1980-х годов им также предоставлялось право посадки именного дерева.

Корри тен Боом удостоилась этого почетного звания, и в 1968 году она посадила свое дерево в Аллее праведников под Иерусалимом.

В христианских кругах Корри известна как миссионерка. После войны она в течение многих лет путешествовала по миру, рассказывая людям Благоую весть и делясь свидетельствами Божьей любви в своей жизни.

Корри скончалась 15 апреля 1983 года. В тот день ей исполнился 91 год. По еврейской традиции, в день своего рождения умирают только благословенные Богом люди...

## Примечания

<sup>1</sup> Ис. 32:2.

<sup>2</sup> Пс. 118:105,114.

<sup>3</sup> Отец Корри перефразирует текст Священного Писания: «...касающийся вас касается зеницы ока Его» (Зах. 2:8), т. е. посягающий на избранный народ поднимает руку на самое драгоценное, что есть у Господа.

<sup>4</sup> В Синодальном переводе Библии нумерация некоторых псалмов отличается от нумерации в западных изданиях, поэтому в русском тексте Священного Писания это псалмы 99 и 65.

<sup>5</sup> Ханукка (арам. *ханукта* — новоселье, обновление) — праздник, установленный в 165 г. до н. э. в память об очищении Храма и возобновлении храмового служения, последовавшего за разгромом и изгнанием с Храмовой горы греко-сирийских войск и их еврейских пособников. Иосиф Флавий называет этот праздник Праздником огней, а в Новом Завете мы читаем о нем как о Празднике обновления (Ин. 10:22).

<sup>6</sup> 1Пет. 2:17.

<sup>7</sup> Пс. 143:1,2,7.

<sup>8</sup> См. Рим. 8:35,39.

<sup>9</sup> 1Фес. 5:14.

<sup>10</sup> 1Фес. 5:16—18.

<sup>11</sup> 3Цар. 17:16.

<sup>12</sup> 2Кор. 12:9.

## Оглавление

Предисловие.....	3
<i>Глава 1</i>	
Столетний юбилей.....	7
<i>Глава 2</i>	
Все семейство в сборе .....	23
<i>Глава 3</i>	
Карел.....	37
<i>Глава 4</i>	
Магазин часов.....	54
<i>Глава 5</i>	
Вторжение.....	68
<i>Глава 6</i>	
Потайная комната .....	84
<i>Глава 7</i>	
Эйси .....	99
<i>Глава 8</i>	
Грозовые тучи сгущаются.....	121
<i>Глава 9</i>	
Облава .....	137

<i>Глава 10</i>	
Схевенинген .....	149
<i>Глава 11</i>	
Лейтенант .....	169
<i>Глава 12</i>	
Вугт.....	180
<i>Глава 13</i>	
Равенсбрюк.....	200
<i>Глава 14</i>	
Голубая кофта .....	217
<i>Глава 15</i>	
Три пророчества.....	230
«Кто спас одну человеческую жизнь, тот спас целый мир» .....	249
Примечания.....	250

---

# КНИГИ БЕСПЛАТНО

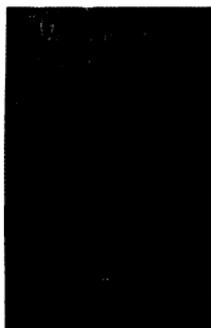
**ОТПРАВКА КНИГ ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ИЗРАИЛЯ**

---



## **ТОРА, ПРОРОКИ, ПИСАНИЯ И НОВЫЙ ЗАВЕТ (БИБЛИЯ)**

Книга издана в твердом переплете.  
В форматах:



## **МЕССИАНСКАЯ ХРИСТОЛОГИЯ - Фрухтенбаум А.**

Так поступали в свое время апостолы: представляли всю мессианскую программу, основываясь лишь на Танахе, поскольку в то время Новый Завет еще не был написан. И для нас очень важно и жизненно необходимо понимать, что Иешуа в совершенстве отвечает всем фактическим и духовным требованиям, предъявляемым Мессии в Ветхом Завете. В данной книге изучаются тексты Танаха, на которые ссылались Иешуа и Его ученики.



## **ПРАЗДНИКИ ИЗРАИЛЯ - Фрухтенбаум А.**

В настоящее время в Израиле существует девять важных праздников. Семь из них были даны Богом Моисею, и два были введены позднее: это Ханука (Праздник Освящения или Праздник Свечей) и Пурим – праздник, связанный с событиями, описанными в свитке Есфири. Д-р Арнольд Фрухтенбаум представляет вашему вниманию фундаментальное исследование праздников Израиля в свете Ветхого и Нового Заветов, раввинистической традиции, а также раскрывает их мессианский подтекст.



## **СВЕТ ЖИЗНИ**

"Свет жизни" является самой распространенной книгой чтений на каждый день, основанной на Священном Писании. Библейские стихи здесь объединены по темам и представлены в виде утренних и вечерних ежедневных чтений. "Слово Твое светильник ноге моей и свет стезе моей". Пусть эти слова псалмопевца станут непрестанным девизом нашей жизни, и пусть молитвенное чтение книги "Свет жизни" даст вам духовный свет, столь необходимый в этом темном, запутанном мире.



## **ПАСТЫРЬ ИЗРАИЛЯ И ЕГО РАССЕЯННАЯ ПО МИРУ ПАСТВА** - Барон Давид

Эта книга является последовательным изучением одного очень важного отрывка Священного Писания, который описывает нынешнее положение евреев среди других народов, а также пророчествует о том, как Бог поступит с сынами Израиля в будущем. Также здесь помещен обзор еврейской истории для того, чтобы подтвердить и разъяснить библейский текст и показать, как точно исполнялось пророческое Слово Божье в прошлом этого особого народа и как исполняется по сей день.



## **ИСТОРИЯ ИЗРАИЛЯ: ЕЕ ДУХОВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ** - Барон Давид

В книге постепенно, планомерно и непрерывно разворачивается великая истина о том, как Бог открывался людям на протяжении еврейской истории, являя славные черты Своего характера ради всего рода человеческого. За основу взят лишь древнееврейский текст, который позволяет извлечь истинное значение библейских строк из их боговдохновенного оригинала. Читатели найдут немало великих и важных уроков для себя в истинном свете всей истории избранного Богом народа.

Пришлите, пожалуйста, свои данные,  
заполнив табличку:

Имя и фамилия: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Напишите названия книг, которые вам хотелось  
бы заказать здесь:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

Я, нижеподписавшийся, разрешаю издательству  
"Керен Ахва Мешехит" посылать мне рекламные  
письма. И мне известно, что если захочу прекратить  
получать таковые, то должен буду сообщить об этом  
по адресу издательства.

Подпись: \_\_\_\_\_

Вышлите заполненный купон по адресу:

Keren Ahvah Meshihit  
P.O.B. 10382,  
Jerusalem 9110301

(המחבוא)



**В** ЭТОЙ КНИГЕ ГОЛЛАНДКА КОРРИ ТЕН БООМ (1892—1983) РАССКАЗАЛА О СВОЕЙ ЖИЗНИ В 1892—1945 ГОДАХ. ОНА ТРЕПЕТНО ОТНОСИЛАСЬ К ПРОЖИТЫМ ГОДАМ, ПОТОМУ ЧТО СЧИТАЛА ПРОШЛОЕ НЕОБХОДИМОЙ ПОДГОТОВКОЙ К БУДУЩЕМУ, КОТОРОЕ ИЗВЕСТНО ТОЛЬКО БОГУ.

ВЕРНОСТЬ НРАВСТВЕННЫМ ПРИНЦИПАМ И ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ ПОБУДИЛИ СЕМЬЮ ТЕН БООМ ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ОТКРЫТЬ ДВЕРИ СВОЕГО ДОМА ДЛЯ УКРЫТИЯ ПРЕСЛЕДУЕМЫХ НАЦИСТАМИ ЕВРЕЕВ. ПЕРЕЖИВ УЖАС И НЕЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ЖЕСТОКОСТЬ КОНЦЛАГЕРЯ, ПОСЛЕ ВОЙНЫ КОРРИ ПОСВЯТИЛА СЕБЯ РАБОТЕ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕРТВ НАЦИЗМА.

